

ОЛЕГ СЛОБОДЧИКОВ

СИБИРИАДА



ВОЛЬНЫЙ АЛБАЗИН

Олег Васильевич Слободчиков
Вольный Албазин
Серия «Сибириада»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73901717
ISBN 978-5-4484-6015-9

Аннотация

Вторая половина XVII века. На Руси царит всеобщее уныние, подогреваемое церковной реформой, бунтами и усобицами. Растет и очередная смута: толкователи Откровения Иоанна Богослова указывают на три шестёрки – число зверя в грядущем 1666 году. На сибирской реке Лене конца света не ждут, но недовольство властью на пределе терпения народа. С тех пор как Илимский острог выделился в самостоятельное воеводство, всякий очередной царский воевода хуже предыдущего, а нынешний, Лаврентий Обухов, в корысти и подлости превосходит всех прежних. Как тут не случиться новому бунту и вольному походу отчаянной казацкой ватаги?

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	70
Глава 3	134
Конец ознакомительного фрагмента.	149

Олег Слободчиков

Вольный Албазин

© Слободчиков О. В., 2026

© ООО «Издательство «Вече», 2026

* * *

*Посвящается сибирскому историку Георгию
Борисовичу Красноштанову*

Глава 1

Был труден и шаток год 7173-й от Сотворения мира, от Рождества же Христова – 1665-й. Непрекращавшиеся войны со шведами и ляхами перемежались кровавыми народными волнениями. Ко всем бедам среди привычного к войнам и раздорам русского народа распространялась очередная смута: толкователи Откровения Иоанна Богослова указывали на три шестёрки – число зверя в следующем, 1666 году от Рождества Христова. На Руси царило всеобщее уныние, подогреваемое церковной реформой, бунтами, усобицами, засильем иноземцев во власти, уничтожением народного понимания соборности и справедливости. Иные крестьяне в тот год не пахали земли и не сеяли, обречённо высматривая венценосного всадника на коне Бледном, ожидая конца всего сущего.

Шёл седьмой год охлаждения отношений царя с патриархом, объявившим, что духовная власть должна руководить светской, так как законы и правила церкви по происхождению своему непогрешимы, неизменны и должны быть основой государства. Царь, долго и во всём уступавший Никону, жёсткой рукой проводившему церковные реформы, вдруг не согласился с ним. Никон вознегодовал, не получив царской поддержки в своём озарении, всенародно отказался от патриаршества, удалился

в собственный Воскресенский Ново-иерусалимский монастырь, для уединённых молитв и ждал, когда царь с митрополитами приползут к нему с покаянием.

Между тем церковные реформы, затеянные царём, патриархом и их окружением продолжались с прежней жестокостью. В Соловецкий монастырь, едва переживший шведскую осаду, были присланы новые, исправленные служебные книги, которые старцы не приняли и запечатали в отдельной келье. Не было согласия и в самой Патриаршей церкви, поддерживавшей реформы: патриарху с царём то и дело доносили, что попы и монахи говорят меж собой, будто во главе их стоят незаконно избранные митрополиты.

В Сибири о конце света задумывались мало по причине множества других забот. На великой реке Лене месяц зимобор, по-европейски – март, то звенел капелью с крыш, то понуждал надевать по пять порток. И всё же это была весна: холодные ночи менялись такими оттепелями, что в полдень в закрытых от ветра местах можно было погреться на солнце. И в той сладостной весенней дрёме баламутило души ссыльных пашенных и служилых казаков манящее слово «воля», одолевал соблазн бросить всё и бежать куда подальше от всей тягостной несправедливости нынешнего бытия. Кроме как на восход, бежать было некуда, и смущал души податных ленских жителей круг теплеющего солнца, поднимавшийся над изморозью бескрайней тайги.

Ленские деревни постились и готовились к Пасхе. Дел бы-

ло много, в ожидании праздника мужики глушили работой соблазны, навеянные весной. Ссылный московский стрелец Мишка Черничёнок по прозвищу Сапожник царским указом был посажен на ленскую пашню, в семи верстах выше Киренского погоста. Он пахал на государя десятину ржи и полдесятины пшеницы-яри. На него весенняя тоска напала среди бессонной ночи, когда в оконце, затянутое бычьим пузырём, заглянула полная луна и высветила выстававшую печку со спавшей на ней семьёй.

Призвания к пашне Мишка никогда не имел, в чине стрельца попал в подчинение к заносчивому пленному поляку, за побои начальствующего был сослан на Лену и жил здесь семнадцатый год. Крестьянская жизнь без женщины непомерно трудна. Сапожник купил у ленского казака кабальную якутскую жёнку, не выкупленную родственниками. Жён на Лене не хватало ни служилым, ни пашенным, промышленные и вовсе почти все были холосты. Мишкина якутка оказалась хорошей хозяйкой, родила от него двух сыновей, и он считался удачливым семьянином.

Мучимый мыслями ссылный стрелец проворочался остаток ночи, чем раньше обычного разбудил жену с сыновьями. Они тихонько слезли с печки, залопотали между собой по-якутски, а Мишка подумал: «Я это или не я? И где я? И не сон ли всё это? Не пора ли бежать, как самовольно бежали на Амур воровские ватажки Проньки Кислого, Васьки Черкашина и Давыдки Кайгорода, потом и целый полк Миш-

ки Сорокина?» Кому из них повезло, те влились в Амурское войско Онуфрия Степанова, вдоволь хлебнули казацкой воли, вернулись и были прощены.

Мишка ещё не знал, что нынешняя весна прельщает Амуром не его одного, что на Киренском погосте теми же помыслами делятся с приказчиком якутский казак Федот Лукьянов и ссыльный запорожец Микулка Еремеев, который, как и он, Мишка, был посажен царским указом на ленскую пашню. Той же ночью на Чечуйском погосте, недавно отошедшем от Илимского к Якутскому воеводству, едва только заглянула в оконце дома здешнего мельника полная луна и бросила тень на тесовый пол, проснулся в обнимку со своей русской женой Ивашка Перелешин. На печи было тепло, на полатах посапывали дети: брат с сестрой тринадцати и десяти лет. Семья не голодала, но лунный свет или беспокойные сны нагнали на супругов утреннюю тоску-кручину. Ивашке приснилось, что илимский воевода Обухов со своими дворовыми людьми нагрянул в его дом искать припрятанные излишки муки.

– С чего бы? – шёпотом жаловался жене. – Который год снится жернов: крутится и крутится, а тут воевода, да ещё илимский? Мы теперь в Якутском воеводстве.

– Не к добру! – сонно зевнула Анна Мельничиха. – Поганый человечешко, говорят, из казачков.

– Было дело, вымучил с меня кабалу, когда мы были в Илимском. А я прошлый год подписал на него жалобную че-

лобитную. Может, узнал и задумал месть?

– Мы теперь не под ним! – попробовала успокоить Ивашку жена.

– Кабала-то на мне по Илимскому...

Пропал сон, громче зашептались мельник с мельничихой, всё об одном и том же: они бежали в Сибирь и венчались без благословения родителей. Анна была из бедной крестьянской семьи, Иван – из зажиточных мельников. Родители не разрешили ему жениться на приглянувшейся девке. В Сибири они надеялись быстро разбогатеть и вернуться с покаянием, но на Чечуйском погосте будто в ловчую яму попали: не голодали, дети росли, но даже на одёжку денег едва хватало.

– Добры люди соболя промышляют, а тебе, кого там, ни зимой, ни летом от мельницы не отойти, кабальную оплатить не можем, а долг растёт: алтын с рубля. Бросить бы всё, уйти на промыслы, только вместе...

Весна брала своё, переходя в жаркое лето. Сошёл лед с Лены и Киренги, закончился сев яровых. Ссылный пашенный Федька Евсеев, с женой-тунгуской и дочкой-полукровкой сплыл на струге в деревню Поворотную, восемь верстами ниже его заимки, к своему товарищу Осипу. Оба они были запорожскими казаками, воевали против поляков, вышли на Русь, чтобы в той войне послужить православному царю, но через пару лет службы от обид бежали обратно, в пути были пойманы и отправлены на Лену в государеву пашню. Осип успел жениться на Руси, Федька прибыл сюда хо-

ЛОСТЫМ.

Таких расказаченных запорожцев с одинаковым прошлым проживало на Лене четыре десятка. Кроме обычных податных работ с них требовали пахать на государя по десятине ржи и полдесятины пшеницы. Иные ненавидящие землешество скрепя сердце терпели, а Федька даже приохотился к земле, обзавёлся крепким хозяйством, купил у тунгусов сиротку за мешок муки, крестил её, женился и долгое время потешал соседей, терпеливо приучая жену к русской жизни, к бане и мытью щёлоком, от которого у эвенкийки было ощущение, будто с неё содрали кожу. Одну за другой она родила трёх дочерей и на том остановилась, а за семнадцать лет совместной жизни научилась варить кашу и выпекать хлеб. В православии же смогла запомнить, что надо креститься, входя в дом и садясь за стол, при гостях надевать поневу, в остальном оставалась прежней тунгуской: носила кожаные штаны, охотилась с собаками и ненавидела земледельческие работы.

Степенный, как крестьянин, медленно, но верно соображавший Федька был светло-рус, широкоплеч, коротко стриг бороду и былые запорожские усы. К этому времени он выдал замуж двух старших дочерей за гулящих людей, бывших у него в работниках, готовился выдать и младшую, которая при подростковом ещё теле уже вышла в невесты по возрасту. Федька дочку с замужеством не неволил, сама согласилась на уговоры жениха, а тот был толковым, спокойным

и работающим, на такого можно было с уверенностью положиться.

В Поворотной деревне, в гостях у соседа Оськи Подкаменного, Федька похвастал:

– Вот и отмучился! Выдаю замуж младшую, передаю на трёх мужиков государево тягло – и свободен, как ветер. А то, было дело, беглые казаки лаяли и срамословили, что променял волю на бабу, да ещё нерусскую.

– То меня не лаяли, – насторожился хозяин. Хоть и были они с Федькой сосланы на пашню в одно время, но Оська до сих пор брил голову и щёки, оставляя узкий клочок казацкого чуба и длинные запорожские усы. – Грозили остричь наголо, забрали пищаль и топор, – добавил, пристально глядя на соседа.

– Я топор с котлом загодя спрятал, а телка забили. – Посмеиваясь, Федька вспомнил о проходивших на Амур вольных ватагах. – Сильно хотелось уйти с ними, а дочек бросить не смог, без меня они бы тогда не выжили. Эта бы не пропала, – кивнул на жену.

Она не была красавицей, даже по тунгусским понятиям. Голова небрежно повязана платком, из-под него по ключицам свисали две тонкие чёрные косицы, поневу надела поверх штанов, только сходя со струга, и путалась в ней. Мужа Евсеевиха не слышала, вынюхивая вдавленным носом бражный дух в чужом доме. Жена хозяина Зинаида, такая же крепко сбитая, как муж, с хмурым лицом выставляла на стол

хлеб и молоко. Их сын Ивашка, годом старше Марийки, оценивающе разглядывал соседскую невесту.

– Воля-воля! – глубоко вздохнул Оська, задёргал длинными усами, свисавшими ниже подбородка, и заводил по сторонам глазами, чем сразу насторожил Марийку, Федькину дочку. – А пойдём-ка во двор, что-то покажу.

Мужчины поднялись из-за стола. Оськина жена и сын, входивший в служилый возраст, остались с гостями. Федька мимоходом взглянул на дочку. Её чёрные прируженные глаза с пухлыми веками стали круглыми, как срезы ружейных стволов. «Что-то учуяла?!» – подумал отец и усмехнулся, зная, что это значит. Из всех дочек младшая казалась ему самой красивой, и привязан он был к ней больше других. А глаза её кого пугали, кого смешили, по-тунгусски узкие, широко расставленные, врзлёт, как крылья птицы в полёте, временами они могли становиться круглыми и выпуклыми.

Мужчины вышли во двор, и Федька был посвящён в тайну, что ленские ссыльные и казаки готовятся к побегу в Дауры и он, Осип, в том заговоре участник. От слов товарища на Федьку так пахло забытой запорожской волей, что затрепетала кровь в груди. Как у всех ссыльных, у него были причины ненавидеть здешнюю жизнь и власть, особенно илимского воеводу, его племянника и пасынка, которым не мог простить вымогательств.

– То, что беглые казаки пограбили, зла не держу, а воеводских гадёнышей, племянника с пасынком, простить не

смогу. Вот бы кого поставил на четвереньки да воздал батогами... – Мстительно скривив губы в стриженной бороде, он пояснил: – Прошлую зиму жена добыла двух соболей, мездрила шкуры, а эти ... зашли требовать лошадей на прогон и походя, с усмешками соболей забрали. Ещё и пригрозили, если не подарю их в поклон и почесть, найдут причину взять с меня больше.

– Бежишь с нами? – в упор спросил Оська.

– А то как же?! Приодену дочку к свадьбе – и прощай, Лена.

– Вот и воздашь за обиды, – озираясь, приглушённо сообщил Оська о главном. – Сразу после ярмарки пограбим воеводу и уйдём.

На сибирской реке Лене конца света не ждали, но и здесь недовольство властью было на пределе терпения народа. Довольными ею сибиряки никогда не были, но, с тех пор как Илимский острог выделился в самостоятельное воеводство, каждый новый царский воевода был хуже предыдущего, а Лаврентий Обухов в своей гордыне, корысти и подлости превосходил всех прежних.

Летом 1665 года на погосте между Леной и Киренгой проходила обычная ярмарка, собиравшая торговых людей из сибирских острогов и даже с Руси. Из тайги выходили с мехами русские промышленные и ясачные тунгусы, из окрестных заимок прибывали пашенные крестьяне: одни, чтобы продать

и купить товары, другие – повеселиться. Русские люди отгуляли Купалу, отплескались в холодной ещё воде реки, отпарились в банях. Лето пошло на жару, солнце – на зиму.

С торговыми людьми на их стругах на Никольский погост прибыла дочь здешнего приказчика Никифора Черниговского и сразу бросилась к отцу с жалобами, что её мужа, илимского целовальника Петра Осколкова, тамошний воевода велел схватить и заковать. Грех за целовальником был – в нужное время у него не оказалось казённых сорока рублей. Для казака или пашенного такие деньги были немалыми, но для торгового человека с оборотами товаров в сотни и тысячи рублей – сущий пустяк. За Петра тут же поручились знакомые посадские люди, но это не помогло ему спастись от пра-вежа.

Пётр Осколков с братом скупал соболей сотнями на Индигирке и Колыме, затем продавал в Енисейском остроге и Тобольском городе. Сам уже в матёром возрасте, с первым инеем на скулах, проходя мимо Никольского погоста, он высмотрел молоденькую дочь здешнего казачьего пятидесятника, высватал её и увёз в Илимский посад, где у него был свой дом. Никифору зять не понравился с первого взгляда: торговая хитринка в плутоватых глазах, подозревавших всех в корысти и подлости, блуждавшая ухмылка в бороде. Впрочем, с купцами отношения у приказчика складывались трудно из-за должности, поскольку приходилось брать с них разные налоги. Дочь свою он не неволил, прельщённая подар-

ками и обещаниями, она сама захотела идти замуж за небедного торгового человека и теперь искренне не понимала, за что её муж попал в воеводскую опалу. Никифора же будто ледяной водой окатили, он понял больше услышанного.

Перед началом покосов на громоздком дощанике с устья Куты сплыл на Киренгу илимский воевода Лаврентий Авдеевич Обухов с женой Ульяной, с её сыном и своим племянником, с подьячими, дворовыми и служилыми людьми. Он приезжал сюда почти каждый год или посылал вместо себя племянника с пасынком для разбора судебных дел по сыску государева десятинного хлеба и пашенных крестьян, недовольных земельными наделами, для судов, проверок служб приказчиков и хлебных целовальников. Всякий приезд воеводы или его родственников, требовавших от пашенных и служилых людей прогонов, кормов и подарков, вызывал глубокую озлобленность ленских жителей.

На этот раз воевода первым делом навестил строившийся Троицкий монастырь, старцев-строителей Ермогена и Варлаама. Еще не получив благословения на строительство от преосвященного тобольского архиепископа, Обухов своей властью отвел будущему монастырю земли возле Киренского погоста вверх по Киренге от креста, поставленного Ерофеем Хабаровым, до Мельничного притока, где стояла хабаровская мельница. А чтобы братии было чем кормиться, воевода безданно и безоборочно приписал им заимку бывшего киренского приказчика Василия Скоблевского с её аренда-

торами-половниками, со всеми санными и рыбными угожьями.

Ко времени приезда воеводы на ярмарку чёрный поп Ермоген со старцем Варлаамом и братией срубили часовню и кельи, прибрали разных чинов старых людей, которые клали обещания постричься в иноческий чин и по мере сил помогали строить Троицкий монастырь. Все они ждали благословения, присылки антиминов от тобольского архиепископа, и встретили своего благодетеля-воеводу с большими почестями. В голубом польском жупане, по-польски стриженный в кружок, с гладко выбритым лицом, покрытый шапкой из чёрных соболей, со шпагой на боку Лаврентий Обухов похозяйски осматривал строения и всем своим видом показывал, что вполне доволен работой братии: его выбритые щёки сыто подрагивали, на полных губах блуждала самодовольная ухмылка.

– Молитесь за меня, грешного, – отвечал на поклоны строителей, при этом обещал придать монастырю киренскую церковь Пресвятой Богородицы.

Братия с открытыми, ясными лицами свободных от суеты людей обещанию воеводы обрадовалась, стала громче благодарить благодетеля, кланяться ему в пояс, а вот Ермогену такое бесчинство не понравилось: передать монастырю церковь мог только преосвященный тобольский владыка, воевода таких полномочий не имел. Монастырь еще не был построен, но уже превращался в богатое поместье, которое тре-

бовало не молитв, а правления и надзора.

Сосновый бор благоухал душистым запахом смолы, вода в реке пахла рыбой, шумела весенняя ярмарка, гулял воеводский двор. Лаврентий Обухов со зловещей ухмылкой чинил на погосте суд и управу. Его непомерно толстая жена в семи юбках под сарафаном и горностаевой шубе, несмотря на жару, с лицом, густо покрытым бородавками, с золотом в ушах и на пальцах, одышливо переваливалась с бока на бок, важной гусыней похаживала среди лавок, справлялась о ценах и недовольно фыркала.

Пока воеводы не было, вся власть в Усть-Киренской волости принадлежала пашенному приказчику – сыну боярскому Ерофею Хабарову, но его прошлым летом вытребовал в Якутский острог тамошний воевода для правежа по долгам. Без него волостью правил киренский казачий пятидесятник и приказчик Никифор Черниговский. По мстительным взглядам и щуирившимся глазам Лаврентия Обухова он чувал, что близится расплата за жалобную челобитную, отправленную им царю через Якутский острог.

Все было сделано разумно и осторожно через якутского сына боярского Федора Пущина и якутского воеводу – князя Кутузова-Голенищева. Воевода принял челобитную благосклонно, отправил её в Москву с государевой казной под началом казака Семейки Епишева, ходившего на Охоту и Улюю к Охотскому морю. По пути в Илимский острог и Москву казак останавливался на Никольском погосте. После встречи

с ним в душу приказчика запало нехорошее предчувствие. Ничего плохого о Епишеве он сказать не мог, разве тот показался ему не в меру болтливым и суетливым. Но предчувствие, похоже, не обмануло. Скорей всего, Епишев проболтался про жалобную челобитную киренских людей и дал её прочесть Обухову. Изъять её из воеводских бумаг илимский воевода не мог, но непременно должен был отомстить. Арест зятя, похоже, был началом этого мщения. Едва приехали на погост дворовые люди Обухова, чтобы приготовить к приезду хозяина воеводские покои, по их лицам и взглядам Никифор понял, что не ошибся. А воевода в нынешнем своём приезде, явно зная о жалобной челобитной, не спешил расправляться с жалобщиками и наслаждался наводимым на них страхом.

Сначала холопами воеводского двора был незаконно взят и посажен в железо никольский поп Фома – второй зять Никифора, и по воеводской прихоти отправлен с приставом на Никольскую заимку ниже устья Киренги косить сено. Поп был небезгрешен: прикрываясь рясой, камилавкой и тестем-приказчиком, не бедствовал, больше занимался перепродажей соболей, чем церковными делами. Среди служилых и промышленных людей Никольского погоста было много недовольных им, но не воевода по его чину должен творить дознание и расправу над попом и уж тем более принуждать его к податным работам. Вторым зять Никифора, илимский целовальник Пётр Осколков, сидел на воеводском до-

щанике в колодках за что, про что, никто не знал, а сам воевода ничего не говорил киренскому приказчику, будто тому и дела не было до его зятьёв. Никифор всё понимал, осторожничал и ещё только примерялся выпросить у воеводских дворовых, за какие грехи попали в немилость мужа его дочерей.

Но вот настал и его черёд. С воеводского двора в дом приказчика пришли обуховские дворовые, Макарка, Ивашка и Маска, за ними, смущённо глядя под ноги, приволокся киренский подьячий Гришка Максимов. Дворовые с ухмылками велели Никифору собираться и следовать за ними, дескать, Лаврентий Авдеевич велел немедля поставить перед собой, при этом с насмешками сняли с пятидесятника саблю. Случилось то, чего он со страхом ждал со дня прибытия воеводы на Никольский погост. Первое, что увидел при входе в сени воеводской избы – четыре задницы со связанными за спиной руками, задранными к продольной сенничной балке. Через неё, с намёком, была перекинута и пятая верёвка, болтавшаяся впусте.

Подельники Никифора неуклюже, из-за склонённых плеч, обернулись к вошедшему в сени приказчику, взглянули на него красными, налитыми кровью глазами. Это были ссыльные запорожские казаки, посаженные на Ленскую пашню: сват Никифора – Оська Подкаменный, задумщик побега Микулка Еремеев, рядом с ним длиннобородый якутский казак Федотка Лукьянов и чечуйский мельник Ивашка Пере-

лешин, – часть тех, кто подписал жалобную челобитную на Обухова.

– И что? – с жёсткой ухмылкой спросил воевода, пристально глядя в глаза приказчика. При этом его лощёные щёки самодовольно затряслись подкожным жирком. – Будем жаловаться или подпишем похвальную челобитную, чтобы мне подольше служить на Илимском воеводстве?

Якутский казак Федотка сипло засрамословил, браня воеводу, которого знал ещё по Енисейскому острогу казачком Лаврушкой. Никифор тоже знал его в те поры, но быстро оценил своё и их положение, подумал, плетью обуха не перешибёшь, скинул лисью шапку, обнажив стриженную в скобку голову – он числился казаком по иноземному списку – перекрестился на образа, отвесив три низких поклона, приосанился и с бравым видом, но дрогнувшим голосом спросил:

– А что, братцы? Может, похвалим воеводу, лучше его всё равно не пришлют?! – И, словно заручившись злобными взглядами товарищей, откланялся Обухову: – Чего уж там, подпишем!

По лицу Обухова видно было, что он разочарован таким быстрым согласием. Уже и огонь был разведен в чувале, рядом лежал сухой берёзовый веник, чтобы пожечь животы строптивцам. Киренский заплечный мастер-палач воротил окаменевшую от напряжения морду, смущаясь встретиться взглядом с приказчиком, но, к его облегчению, воевода удовлетворился и этим: обуховское мщение только начиналось.

Палач торопливо отпустил верёвки, развязал руки ленским пашенным и якутскому казаку, подьячий Распута развернул грамоту и торжественным голосом стал читать царские титулы, затем похвалы воеводе Лаврентию Авдеевичу, следом просьбы пашенных и служилых людей задержать Обухова на нынешнем Илимском воеводстве. Двое освобождённых от верёвок знали грамоту и подписали челобитную сами, за двоих и Никифора Черниговского приложил руку промышленный Семейка Колпаков, бывший при воеводе в доверенных лицах. Федот Лукьянов, растирая запястья, чертыхнулся. Никифор положил руку ему на плечо, пристально взглянул в разъярённые глаза своими светло-карими с затравленными прожилками на белках. Федька под приглушённый хохоток воеводы ещё раз чертыхнулся, тьфукнул и кивнул киренскому подьячему, растерянно переминавшемуся у двери, чтобы тот подписал лист вместо него.

– Смотрите у меня! – пригрозил воевода, помётывая глазами ненавистные, но победные взгляды, и велел всех отпустить.

Пятеро с озлобленными лицами вышли во двор. Никифор с Федоткой забрали у дворовых сабли, пашенные крестьяне и мельник – засапожные ножи. Все вышли из ворот гурьбой, спустились к Лене, к квасной избе, стоявшей у самой воды, сели в тени.

– Уходить надо! – кусая длинный запорожский ус, первым нарушил молчание сват Никифора, Оська Подкаменный. Он

был широкоплеч и дороден, узкий чуб, свисал из-под бараньей шапки на его щеку. Все пятеро доверяли друг другу и были повязаны сборами к побегу на Амур.

– Сразу после ярмарки! – согласился Никифор, пристально глядя на медлительные воды Лены. – Но не без мщения! Без этого никак нельзя! Пограбим воеводу, заставим под кнутом подписать признание в грехах и воровстве, отправим покаянную челобитную через Нижнюю Тунгуску. Авось вразумят подлеца Господь и царь!

– Но сперва за всякий его наглый взгляд батогом да по морде, – скрипнул зубами казак Федот Лукьянов. И он, и Никифор знали нынешнего илимского воеводу по Енисейскому острогу воеводским холопом Лаврушкой, казачком, исполнявшим при дворах начальствующих самые постыдные работы, чтобы заслужить их доверие и привязанность. Но унижался Лаврушка-казачок не зря, в нужный час женился на воеводской дочери-вдове, при покровительстве тестя вышел в чин сына боярского, а потом и в должность воеводы. Теперь бывший Лаврушка-казачок мстил своему прошлому и всем, кто знал его в воеводских дворовых холопах.

Степенно несла свои воды на полночь река Лена, шумела киренская ярмарка, веселился и ссорился народ. То и дело начинались драки между подвыпившими тунгусами, якутами и бурятами, казаки со скучавшим видом равнодушно растаскивали буянивших, принимали ясак от родовых князцов, десятинную подать добытыми шкурами от промышлен-

ных. Целовальники собирали налоги с продаж и покупок, пятинные подушные годовые пошлины. Родственники Обухова продавали сукна, бисер, железо и скупали меха, боясь прогневить воеводу, с них не требовали покупных и продажных пошлин. О беззаконии, творимом людьми воеводы, казаки и целовальники смущённо доносили киренскому приказчику Никифору Черниговскому, который, отмалчиваясь, скрипел зубами и терпел.

Поп Фома был сослан на Никольский луг косить сено, промышленный Пётр Осколков, скованный железом, сидел на дощанике. После всего, что Никифору пришлось пережить на воеводском дворе, просить отпустить зятя не было смысла: Лаврушка бы только торжествуяще посмеялся. Попадья, старшая дочь Никифора и его любимица Пелагея-Пелашка, в слезах прибежала к отцу, стала просить заступничества за мужа. Но что мог сделать опальный приказчик: почесал выстриженный затылок, поскоблил щеки, поросшие щетиной, перераставшей в бороду, чуял, что подписанной хвалебной челобитной воеводская месть не закончится, хотя и утешал себя надеждой, что Обухов, посмеявшись над жалобщиками, пойдёт и успокоится. Но тот не успокоился.

Не помочь любимой дочке Никифор не мог, побежал к монахам, строившим монастырь, стал жаловаться. Они смущённо сочувствовали, обещали молиться о вразумлении тщеславного гордеца, но помощи не обещали, и только строитель Ермоген, теряя обычное степенство, неприязнен-

но осудил воеводский грех, но не самого Обухова.

Не дождавшись помощи от отца, молодая попадья решила пасть в ноги воеводе, просить милости за бездумные дела мужа. Ушла и пропала. Никифор забеспокоился, стал искать её и нашёл на поповской заимке, рыдавшую и растрёпанную. «Снасильничал, иуда!» – прямо под сердце кольнула шальная догадка. Никифор часто закрестился, сел на нары рядом с рыдавшей дочкой и понял, что не ошибся.

Но слезами делу не поможешь, а утешительных слов в голову не приходило. И попадья была опозорена, и сам поп. Никифор представить не мог, как после этого зять войдёт в алтарь, и обозлился пуще прежнего, намекнув рыдавшей дочке на скорое мщение. Затем он велел домочадцам быть всем вместе в своём доме, дескать, семейно легче пережить любое горе, сам же поднялся на яр, привычно осмотрел окрестности, которыми правил в отсутствие воеводы. Как ему казалось, правил справедливо, жалоб на него не подавали. Никифор на своих службах отличался тем, что умел уговаривать и мирить.

Равнодушно несла воды сибирская река Лена, в неё впадала мутная и беспокойная Киренга. Против их слива-стрелки на высоком яру стоял крепкий лиственничный крест, поставленный Ерофеем Хабаровым. Ещё целым было казачье зимовьё, срубленное первыми здешними государевыми насельниками Василием Бугром с товарищами. Сделанная из сырого леса три десятка лет назад изба просела и покоси-

лась, нижние венцы покрылись зелёным мхом, крыша была перекрыта свежим драньём, нагородни сняты за ненадобностью. Воеводским был дом первого в здешних местах пашенного приказчика Скоблевского, отстроившего себе просторные хоромы. Во дворе его суетилась воеводская дворня, стараясь показать, что не бездельничает. И не только дворня. Не по чину даже подьячие и служилые кололи дрова, варили квас, выбивали цветные кошмы, мели и мыли воеводские покои. Обухов мстил и им, ни в чём неповинным, не знавшим его Лаврушкой казачком, за то, что когда-то сам делал всё это доброй волей и вот ведь – вышел в большие люди.

Неподалёку от воеводских хором был гостиный двор, напротив – часовня и таможня с сенями и клетью. С восточной стороны таможни, на стене – лик Спаса в киоте за слюдяной оконницей. Приказчик Никифор остановился перед ним, скинул лисью шапку, трижды перекрестился, отвешивая поясные поклоны, бормоча просьбы и оправдания. Ниже, над Леной, сгучились десяток лавок илимских торговых людей, плативших за них годовой оброк, среди лавок выделялся хлебный амбар. У самой воды на берегу, возле квасной поварни, сидели, шатаясь, похаживали, гулявшие и приценивавшиеся к товарам промышленные, пашенные, ясачные. У позорного столба стоял на правееже Федька Давыдов, ссыльный верхотурский конный казак, тоже посаженный в пашню. Киренский палач время от времени бил его бато-гом по обнажённым икрам, призывая добрых людей погасить

долг перед воеводой. А долг был несправедливым: Обухов вымучил с бывшего казака кабальную грамоту за посевное зерно для государевой десятины, которое должен был дать ему без платы. Это тоже была месть.

Продолжалась ярмарка, кому-то весёлая и прибыльная, кому-то горестная. Истекали постные деньки набравшего зной хлебороста-июня, начинались сенокосы, затихал Ки-ренский погост, по старинке называемый Никольским. Сту-чали топоры в Троицком монастыре. Быстрое течение реки Киренги, встречаясь на сливе со спокойными водами Лены, бугрилась спинами огромных рыбин. Солнце стояло в зени-те, от реки приятно веяло прохладой, сосновый бор благо-ухал смолой. На крутом высоком берегу, в тени сосен сиде-ли монах и казак. Монах с густой проседью в гриве волос, покрытых камилавкой с белой бородой, казак – с проседью в вислых запорожских усах, в стриженных кружком тёмно-ру-сых волосах. Со стороны могло показаться, что он раздоса-дован и в чём-то упрекает монаха, а тот покорно, с покаян-ным видом то ли слушает, свесив на поджатые колени длин-ную бороду, то ли дремлет, но это была страстная исповедь без аналоя, распятия и Евангелия.

– Многогрешен, подл и мерзок, прежнюю жизнь вспоми-нать тошно, только и делал, что выискивал выгод. В мла-денчестве был крещён в русскую веру, с которой мог слу-жить королю разве только холопом. Выкрестился в униат-ство и вскоре стал двуконным казаком, считай, шляхтичем.

А что? – вскинул затравленные глаза на монаха. – Униаты тоже верят в Святую Троицу?!

– Верят! – тихо вздохнул монах. – Да только в отдельную. После Отца – аминь, Сына – аминь, Святого Духа – тоже.

– Ну да, – поморщился пятидесятник. – И не поют литургию, а говорят. За папу молятся, и постный день у них – суббота... Так я только для вида сказывался униатом. Крест с шеи не снимал. На войне с полудюжиной ляхов попал в плен к москвитам, сперва открылся литвином. Гляжу, а ляхов что король, что русский царь почитают боле, чем своих, русских, православных. И платят им за выход больше. Подумал, что я бжекать не умею? Сказался ляхом. А как узнал, что папистам за выход из их веры царь дает по восьми рублей и сукно, а за крещение в православие – ещё три с полтиной, так назвался католиком и заново крестился в свою же веру. Что? Большой грех?

Монах приподнял голову, покрытую выгоревшей камиллавкой, вскинул на говорившего большие, пристальные глаза:

– Нательный крест снимал? – спросил.

– Утерял, когда держали в Вологодском монастыре, – в запале обронил казак и осекся, некоторое время смущённо помолчал, затем тихо признался: – Снял, держал в кармане. – И снова с жаром заговорил: – Своей волей с четырьмя ляхами остался на Руси. В Москве женился на Анфиске – падчерице старого выходца из Литвы, а поставили меня в казачью

службу по Туле, в иноземный гусарский полк, содержания на жену не дали. Бросил я, грешный, жену и службу, самовольно бежал обратно в Литву. Когда поймали, объявил «государево слово и дело», чтобы не забили до смерти. В кандалах отправили в Енисейск, потом на Лену. Анфиска доброй волей пошла за мной, родила трёх сыновей, двух дочерей. Двенадцать лет я прослужил по Енисейскому острогу, на Байкал ходил, по разным рекам за ясачным сбором, служил на Чечуйском волоке.

– Оправдываешься, что ли? – спросил монах, не поднимая головы.

– Нет! Грешен! Но что в Литве, что на Руси, что в Сибири служилым ляхам, прошлым и нынешним врагам, начальствующие правят, чины дают, а на своих смотрят, как на грязь. Ходил я в Москву с казной, просил государя, чтобы поверстал меня в дети боярские по иноземному списку. Отказали! Здесь, по Никольскому погосту, больше десяти лет верой и правдой служил царю, из десятников вышел в пятидесятники и приказчики. Как ушел Ярко Хабаров со своим войском на Амур, самовольно побежали за ним в Дауры служилые, гулящие, пашенные. Я получил наказ – не пускать, ловить, вязать, и они шли на меня приступом, но я не дал разграбить государев амбар. А когда бежали на Амур ленские плотники Проньки Кислого да пашенные с промышленными, это я задержал Ваську Черкашина, но его у меня отбили. На другой год проходил в Дауры воровской полк Мишки

Сорокина, по погребам от них прятался. Жену и детей грозили увезти. И вот ведь приспело... Самому бежать в Дауры. А что делать?

Никифор резко умолк, метнул на монаха испуганный взгляд. Не впервой проговорился Ермогену. Он знал о способности чёрного попа так слушать, что из говоривших с ним слова сыпались, как сухой горох из мешка. Монах чуть встрепенулся, поднял голову, большими глазами без тени сна пристально взглянул на казака:

– Хабаров с вами?

Казак смутился от его слов и взгляда:

– Ему царь своим указом запретил ходить на Амур. Да и сам не пойдёт. И люди за ним не пойдут, помня прошлое. Долгов на нём за тот поход больше четырех тысяч, а он богатеет. У него же язык с аршин, может чёрта уговорить перекреститься. Хозяин-то хороший, да только для своих деревень тянет льготы со всего присуда. – Из Никифора полезла неприязнь к Хабарову, бывшему его начальником по Усть-Киренскому уезду. – Трёх воевод заморочил, а прежний долг как был на нём, так и есть. Прошлым летом стольник Кутузов вызвал его на смертный правёж, но отпустил зимовать за приставом на Чечуйский волок... Сплыл ли, нет ли обратно, не знаю!

– Сплыл! Отдал монастырю свою мельницу со всеми постройками, но оставил за собой право молотить своё зерно всю жизнь... Ловок. Мельница наша, безоборочная, а работает

на него. Знать, время тянет, – с пониманием прошептал монах, снова опустил голову на колени, и его коричневое от солнца лицо утонуло в пышной белой бороде.

Казак же, смущенно помолчав, спросил дрогнувшим голосом:

– Откуда знаешь про Дауры?

– Говорили, собираетесь бежать и ты зачинщик, – пробормотал монах.

– Не я! – начал было испуганно оправдываться приказчик. – Мишка Сапожник, Федотка Лукьянов, Микулка Еремеев с Сорока Мучеников прельщают идти в Дауры.

Монах снисходительно усмехнулся. Никифор опасливо сглотнул слюну, дёрнув подбородком, смахнул ладонью по длинным усам.

– Донесёшь? – спросил слезливым голосом. – Зятя-попак в железо, дочь мою, попадью, имал насильством. Другого зятя, Петрушку, на дощанике в колодках держит. Сколько терпеть-то велит Господь? – шмыгнул носом.

– Не донесу! – опять поднял голову монах. – А побежите – возьмите меня, будто силой и понуждением. – Снова метнул на казака пристальный взгляд: – Что сказать-то хотел? Вроде как оправдываешься, всё вокруг да около, а главного не вымолвишь.

– Хочу захватить воеводу, под кнутом заставить дать царю признание на свои грехи, а моим посыльным – подорожную грамоту. Отправлю их в Москву с жалобами, а самого

выпорю, может, так Господь приведет к покаянию в сени и гордыне... Благословишь ли? Господь, и тот рёк: «Мне отмщение и Аз воздам», что уж нам, грешным? Какой с нас спрос? – сказал и опять спохватился: не должен был этого говорить, не за тем начал разговор с Ермогеном, хотел всего лишь пожаловаться, снискать сочувствия, попросить совета.

– Благословить не могу! – поднялся на ноги монах и распрямился. Не старик ещё, высокий, широкоплечий, жилистый. – И отговаривать не стану: на все воля Божья. А победишь – не забудь про меня.

– Тебе-то зачем? – удивился Никифор, надевая шапку. – Обласкан извергом дай бог всякому. Прибрал пашен, хозяйств, дворов поболе Хабарова, и всё безданно, безоблично.

– Его ласка хуже наказания, – ответил монах, отряхивая полы застиранного подрясника. – Основал пустошь, а бес понуждает стать помещиком. Скоро за делами некогда будет о душе подумать. Такова вот милость воеводская.

Никто не знал, откуда появился на Киренге этот высокий, мосластый монах, сам о себе он ничего не говорил и был не беден. Ссылный запорожец Пётр Аксамитов продал ему свой двор за большие деньги: сто девяносто рублей. Ермоген основал в нём пустошь и самовольно начал строить Троицкий монастырь, невольно прибирая под себя от вкладчиков другие дворы, заимки и пашни. К нему прибивались немощные старики, увечные и вкладчики, чтобы, оставив мирские соблазны, вместе отмаливать свои грехи и грехи мира, со-

хранять в чистоте русскую православную веру. Душа Ермогена мучилась, примечая, как безобразно меняется всё вокруг и сами русские люди: у священников и монашества всё больше тяги к роскоши, а церковь уже попахивает душком униатской ереси.

Отшумела киренская ярмарка. Илимский воевода приказал своим людям готовить дощаник к возвращению на устье Куты. На судне, причаленном против мясной лавки, суетились его люди. Важный и самодовольный, покрытый собольей шапкой с лебязьим пером, с лёгкой латинянской шпажкой на поясе, Обухов прошёл мимо приказной избы, чем озадачил приказчика. С одного его боку шагал нарядный и заносчивый пасынок Богдашка, с другого – боевой холоп мунгальской породы с саблей и длинным колесцовым пистолем за кушаком. Никифор настороженно наблюдал за ними из окна, предполагая, что воевода идёт к нему, но трое направились к строившемуся монастырю.

Приказчик, скрываясь за избами и деревьями, последовал за ними. Видел, как монахи и вкладчики бросили работу, почтительно склонили головы. Ермоген о чём-то поговорил с воеводой и повел его в часовню. «Донесёт!» – заподозрил приказчик, тайком наблюдая за послушниками и людьми Обухова. Вскоре двое вышли из монастырской часовни, откланялись друг другу, явно прощаясь, и Никифор, так же скрываясь, побежал обратно. Затворил дверь в избу,

сел под образами с колотящимся сердцем.

Он не ошибся, трое вошли, не сняв шапок, не крестясь на образа. Воевода, помётывая презрительные взгляды по углам, потребовал у приказчика людей тянуть его судно против течения Лены. Черниговский, не показывая неприязни, вглядывался в его лицо с немигающими глазами в прищуре, пытаясь высмотреть в них знание о заговоре или хотя бы покаяние за изнасилованную дочь. Ни того, ни другого он не заметил, угодливо склонил голову, обещая дать в помощь своих бурлаков до Поворотной деревни. Дальше им должна быть смена от податных пашенных с верхней Лены. Едва воевода с пасынком и холопом вышли, Никифор побежал к своему дому и застал там трёх сыновей, которые терпеливо ждали отца. Одной плоти и крови, одного семени, все они были разными: средний, Анисим, грузноватый, добродушный, медлительный крестьянин. Он принял на себя хозяйство умершего пашенного вместе с его женой, сыном и государевой десятиной. Старший – Федька, широкоплечий, поджарый, вздорный, служил в казачьем окладе по Илимскому воеводству, при прежнем воеводе ходил с отцом в Москву в илимской ясачной казной, был женат на дочери Оськи Васильева Подкаменного. Младший, Васька, ещё только входил в служилый возраст и был похож на мать: тихий, с ласковыми глазами монастырского послушника.

– Начинаем! Господи, благослови! – Отец окинул сыновей испытующим взглядом, размашисто перекрестился и низко

поклонился на образ Николы Чудотворца в красном углу. – Старшие, потяните воеводский дощаник до Поворотной, там вас переменят, зайдёте к свату. Васька, обежишь всех наших, чтобы поспели вперед дощаника туда же, к свату. Во всём слушайте его. А как вас переменят – вы скопом, под началом Мишки Сапожника, обгоните воеводский дощаник, нападёте, свяжете воеводу и сплывёте к погосту. Здесь я вас буду ждать...

Сыновья поклонились отцу и послушно вышли из дома. Никифор, перекрестив их в спины, обернулся к жене:

– Ну, бабка, собирайся! С Богом!

Его послушная жена Анфиса, в миру Аноска, со вздохами встала и покорно начала собирать вещи в дальнюю дорогу. Насколько она будет дальней, Анфиса не задумалась, зная одно, что жена всегда должна следовать за мужем, как нитка за иглой. Никифор отстранённо взглянул на неё со стороны и подумал, что хотя бы с женой ему в его многогрешной жизни повезло.

Он вышел на берег. Заговорщики побега особняком стояли среди толпившихся бурлаков, призванных тянуть дощаник. Ниже пристани, на галечнике берега, дымил костерок, возле него бобыль Кондрат Суханов ловил удочкой рыбёшку. Его сыновья-двойняшки лет шести-семи, похожие как две капли воды, пекли её на углях. Кондрат был немолод, борода с проседью, в кожаной рубахе и кожаных штанах, быстро нагревавшихся на солнце, почему-то бос и простоволос.

Он жил в работниках у вдовы ссыльного запорожца, которая платила за него подушный налог, и числился гулящим человеком. В прошлом он промышлял соболя и лис, но не разбогател, торговал и проторговался до долгов, при этом не обозлился на весь белый свет, был весел и радовался тому, что имел.

Его хозяйка была из литвинок, редкой в здешних местах русской породы, имела трёх взрослых сыновей от покойного мужа и двойняшек от блудной связи с Кондратом. Мужем его она не считала и при всём недостатке женщин на Лене едва ли не десятый год вдовела из-за своей вспыльчивости и вздорности. Будь Кондрашка один, без сыновей, Никифор отправил бы его бурлаком. Теперь же только спросил:

– Что без шапки?

– Бабища отобрала, – со смехом ответил Кондрат. – Не пускала на ярмарку, спрятала чирки. Я пошёл самовольно босым, так догнала, сорвала с головы шапку и укусила за грудь, – распахнул ворот кожаной рубахи, показывая опухший кровоподтёк.

Никифор окинул взглядом его сыновей в льняных рубахах. Гулящий понял этот взгляд по-своему:

– Тайком убежали за мной. Ох, и задаст нам стерва... Хоть не возвращайся.

Ни один работник не задерживался у вдовицы дольше года, упреждая других от всяких связей со злой бабой. Кондрата со смехом выспрашивали о его жизни в полюбовных ра-

ботниках, и он, тоже со смехом, потешая слушателей, охотно рассказывал то ли правду, то ли небылицы.

– Известное дело, коня бойся с заду, быка – с переду, бабу и медведицу со всех сторон.

– Так как огулял-то медведицу и притом жив остался?

– Это она меня огуляла, не я её. Лежу на сеновале, заскакивает, злющая, хватает за грудки и орёт: «Почто кормлю бездельника?!» И ну насильничать. А я и противиться боюсь. Убьёт. А как рожала двойняшек, каких только проклятий ни наслушался...

Пётр и Павел день убавил. Ночи стали дольше и темней. В это время, перед праздником, в Илимский острог вместе с воеводой следовали около сорока человек. Промышленные, казаки и даже подьячие с раннего утра до заката тянули судно против течения бечевой. Среди бурлаков были и жалобщики, обиженные на воеводу, Лаврентий Авдеевич насмешливо поглядывал на них с высокого борта дощаника, принимая их старание за страх и покаяние.

Сын пятидесятника Никифора, казак Федька Черниговский, с братом, казак Федот Лукьянов, пашенный Мишка Сапожник с мельником Ивашкой Перелешиним и другие заговорщики, тянули дощаник весь долгий и жаркий летний день. Злобствовали комары, и ревели оводы. На закате солнца, против заимки Федькиного тестя Оськи Подкаменного, бурлаки переменялись, передали бечёвы тягловым людям с

верхних деревень. Возле Поворотной деревни их ждали около десятка обиженных воеводой служилых и пашенных.

Когда дощаник скрылся за поворотом реки, все они сели в два длинных и узких струга с тремя парами вёсел, греблей и шестами стали быстро подниматься против течения реки. Скрываясь протоками и за нависшим над водой кустарником, они быстро обогнали медленно продвигавшееся, тяжёлое судно. К сумеркам отбесились оводы, навязчиво лезли в лица комары, роилась мошка, плескалась и плавилась рыба. Начинались покосы. После жаркого дня с берегов веяло свежескошенной травой и прелыми листьями. В пути прошла сумеречная ночь на Самсона-сеногноя. Гребцам-бунтарям она показалась короткой. Спряталось и снова зарозовело восходом солнце. Несмотря на бессонные сутки, Федька с удальством грёб на весле, хватался за шест и посмеивался над робевшими братьями. Васька вздыхал, оглядывая берега Лены, жалостливо улыбался.

Выше поднялось солнце, встал на крыло, загудел овод, комары щекотно полезли в лица. Ещё весной братья вместе с отцом решили бежать на вольные земли Амура, откуда после гибели атамана Онуфрия Степанова был выбит весь его полк. Почти все русские служилые с Амура вышли, но, хлебнув московских порядков, заведённых присланными воеводами, помалу возвращались обратно беглыми воровскими ватагами.

Заговорщики выгребли к длинному узкому острову, по-

крытому кустарником, укрыли струги под нависшим над водой тальником, решив здесь дожждаться дощаник и напасть на него. Все были вымотаны быстрым переходом, братья, сыновья Никифора Черниговского, и вовсе едва держались на ногах. Ступив на землю, гребцы попадали на траву, укрылись от гнуса шапками и зипунами. Небо начали затягивать серые тучи, за ними и среди них то пропадал, то снова ненадолго показывался нежаркий розовый круг солнца. Перестал лютовать овод, гуще заросла мошка, попискивали комары, душно пахло терпким прелым тальником.

Вечер перед Петровками случился пасмурный и сырой. Небо обложили тяжёлые тучи. Наконец послышались уханье и ругань бурлаков, затем показался дощаник, медленно поднимавшийся против течения реки.

– Похоже, своих блюдолизов запряг до Кудриной, – вглядываясь в сумеречную даль, пробормотал Фёдор Евсеев.

Зачинщики бунта сели в струги и стали ждать, когда дощаник поравняется с островом. Передовщики, Мишка Сапожник с Оськой Подкаменным, договаривались, кому с какого борта приставать к воеводскому судну. Оська бросил своему зятю железный крюк:

– Накинешь на бечеву, подтянем дощаник к берегу.

Полтора десятка бунтарей, волнуясь и подначивая друг друга, дождались, когда дощаник вытянут вровень с ними. От тлевого трута они запалили фитили пищалей, у кого были фузеи, проверили кремни на ружьях. Оська скинул бара-

ную шапку, смахнул на ухо чуб и перекрестился:

– Господи благослови! Начали!

Гребцы изо всех сил налегли на вёсла. Другие, сидя в стругах, схватились за пищали и луки, громко с посвистами закричали, стали стрелять. Бурлаки, увидев их, зацепили бечеву дощаника за крепкий пень, чтобы его не выбросило на мель, пугливо оглядываясь, скрылись в лесу. С борта спрыгнули в воду и выбрались на берег с полдюжину воеводских дворовых, которым терять и защищать было нечего. За ними, перекрестившись, скакнул воеводский ларешный ключник.

Казачьи и пашенные со струга Мишки Сапожника пригнулись к дощанику с правого борта. Якутский казак Федотка Лукьянов с киренским пашенным Микулкой Еремеевым, расказаченным запорожцем, ухватились за борт, удерживая лодку. Остальные с гиканьем и посвистом вскарабкались на воеводское судно. Федька Давыдов криком велел сторонним людям сойти на берег. Неожиданно из люка, проема в борту для вычерпывания воды, в одной рубахе выскочил воевода Обухов и бросился в воду, обдав брызгами Микулку с Федькой, всё ещё державших струг под бортом. Ссылный верхотурский казак Федька Давыдов выстрелил в воеводу из лука, стрела плюхнулась рядом с вынырнувшей головой. Воевода саженками быстро поплыл к острову.

– Держи, гада! Уйдёт! – закричал Давыдов, срамословно понося изверга, ещё раз выстрелил в плывущего из лука и

опять промахнулся. Икры его ног ломило от недавнего пра-
вежа.

Бородатый Федотка Лукьянов с длинноусым Микулкой Еремеевым оттолкнулись от борта дощаника, схватились за вёсла, стали торопливо грести, догоняя плывущего. Воевода на плаву оборачивал к ним голову и пугливо взвизгивал: «Господи, помилуй!». Давыдов с дощаника пустил по нему третью стрелу и опять промахнулся. Уж он-то со всей ясностью понимал, что будет, если воевода выберется на берег, скроется и придёт на погост пусть даже без порток: уже завтра служилые, пашенные и торговые гости забьют их, бунтовщиков, кольём и заставят под пытками давать на себя признания.

С другого борта дощаника на него взобрались пятеро удалцов с Оськой Подкаменным. Чечуйский мельник Ивашка Перелешин с пищалью наперевес при тлевшем фитиле, столкнулся с промышленным Семейкой Колпаковым, бывшим в чести у воеводы за какие-то дела или посулы. Семейка схватил ствол пищали, пытаясь вырвать её из рук Ивашки, ружьё вдруг выстрелило. Едва дым рассеялся, Ивашка увидел выпученные глаза Семейки и кровь, брызнувшую из его груди.

Федька Черниговский с братьями и с Федькой Евсеевым, накинули на бечеву крюк, выскочили из струга, стали подтягивать дощаник к берегу. Едва он приткнулся, братья, сыновья Киренского пятидесятника, с разбойным посвистом бро-

сились на борт, поспешая на помощь товарищам. Васька, получив от кого-то отпор на дощанике, упал за борт. Его старший брат-казак в ярости заколол обидчика.

С другого борта струг нагонял плывущего к острову воеводу. Тот оборачивался на плаву, всё громче вскрикивал, призывая в помощь святых покровителей. Казак Федот схватил его за волосы:

– Врёшь, не уйдёшь!

Воевода завизжал, как хряк под ножом, схватился за борт, пытаясь перевернуть лодку. Микулка бросил весло, схватил тунгусскую пальму и стал колоть воеводу прямо в воде, вскрикивая: «За кабалы! За правёж!» Вопль захлебнулся, забулькал водой и кровью, тело за бортом ослабло, Федот плюнул на плешь, притопил голову, и, убедившись, что воевода мёртв, отдал его течению Лены.

В это время на дощанике шел бой. Боевого холопа убили одним из первых. Обласканные воеводой промышленные и торговые, шедшие на Илим, понимали, что будут дочиста ограблены, и оказали сопротивление. Безоружные подьячие, жена Обухова, пасынок и племянник заперлись в казенке при илимской казне. Дверь в неё бунтовщики выломали, подьячие сдались на их милость. Племянник и пасынок были жестоко избиты. Каждый удар и пинок сопровождался напоминанием о прошлых обидах, а они наделали их много здешним пашенным и служилым. Толстая воеводская вдова, сидя на сундуке, орала, как корова, окружённая волками. С неё

содрали горностаевую шубу, сбросили с сундука, раскрыли его и ахнули, вынув тридцать сороков воеводских соболей и триста рублей денег. Иной раз со всего Илимского воеводства в Москву отправляли меньше.

Федька Евсеев ворвался в казённый одним из последних, подскочил к воеводскому пасынку, желая припомнить обобранных соболей, уже замахнулся на окровавленного, корчившегося, вопящего от боли и побрезговал ударить, только плюнул обоим в разбитые морды.

Переранены были около десятка служилых и промышленных. Бунтари с бою отбили илимское знамя государя, взяли на саблю дощаник со всем добром, освободили из колодок илимского целовальника, зятя Никифора Черниговского, Петрушку Осколкова, и Савку Иванова, обвинённого в убийстве. Затем, успокоившись и засовестившись пролитой кровью, стали разбираться со сдавшимися на их милость, при этом называли атаманом Мишку Сапожника и говорили, что идут в Даурию Олёкмой через Тугирский волок.

Против государя они не бунтовали, поэтому обещали отпустить подьячих, целовальника Митьку Семёнова, городничего Саву Брагу с товарищами и при многих свидетелях передали им казённых ясачных соболей, денежный, таможенный и пятинный сбор, печать, уложенную книгу съезжей избы и всякие приказные дела. Из бывших на дощанике людей к ним доброй волей пристали три служилых поляка, ожидавшихся обмена пленными, Иван Сташкеев, Григорий Ку-

лаковский и воеводский повар Станистав Каурко.

На рассвете бунтовщики развернули дощаник и пошли вниз по Лене, к заимке Фёдора Евсеева. Тот быстро собрал зимние вещи свои и жены, оставшихся на Киренге, ничуть не сомневаясь, что урождённая кочевница с радостью бросит опостылевшее ей место. Жениху младшей дочери сказал, что невеста уже приедет к свадьбе и скоро вернётся. Ему было на кого оставить налаженное хозяйство.

– Работайте – и прокормитесь! – бросил напоследок и вскочил на борт отчаливающего дощаника.

Следующая остановка была у Поворотной заимки Оськи Подкаменного, свата Никифора Черниговского и тестя его сына Федыки. В бараньей шапке, в льняной рубахе и просторных кожаных штанах, заправленных в чирки, Оська расторопно спрыгнул на берег, окликнул жену Зинаиду с сыном Ивашкой:

– Собрались? Уходим!

Жена с насупленным лицом вышла вперед, прикрыв собой сына, и заявила, поджав губы:

– Мы остаёмся!

Спорить с ней Оське было некогда:

– Дура старая! – беззлобно выругался. – Мы невзначай воеводу убили. Нам теперь или плаха, или Дауры!

– Вот и беги! Как-нибудь прокормимся с пашни! – Зинаида указала глазами на узлы с зимней одеждой, приготовленные для мужа.

Он отмахнулся:

– Устроюсь, приеду или пришлю за вами! – Забросил узлы на дощаник, вскарабкался на борт и стал отталкиваться шестом от берега.

Во время этой недолгой стоянки Гришка, молодой сын ссыльного запорожца Петра Аксамитова, приставший к заговорщикам без благословения отца, заглянул в воеводскую каюту. Вдова Ульяна горой лежала на досках в исподней рубахе, устав проклинать воров и убийц, громко стонала. На её широком лице смешно двигались бородавки с волосками. Но не они заинтересовали Гришку. Её побитый сын лежал рядом на животе в рубахе и камчатых портках, а на ногах были красные сапоги с высокими каблуками, с загнутыми носками. Пограбить обуховскую семью пограбили, а сапоги с воеводского пасынка не сняли. Гришка скинул свои растоптанные чуни, сдернул сапоги с побитого, они пришлись ему в пору. Восчувствовав себя писанным красавцем, он выскочил на верхнюю палубу, стал искать, что бы ещё прихватить, и нашёл на корме женщину, клубком свернувшуюся под парусом. Открытая, она боязливо ойкнула. Гришка сел рядом, спросил:

– Ты-то чего прячешься? Тебя никто не пограбит.

Да и грабить с неё было нечего: под сарафаном белая рубаха, поверх душегрея, на ногах обшитые бисером летние чирки, голова повязана лёгким платком, так, что видны только глаза.

– Укрой! – попросила женщина и опасно огляделась. – От мужа прячусь, не от вас.

Гришка, любуясь своими сапогами, прикрыл её парусом, тихо спросил:

– Чья ты?

Женщина по имени Настя была венчанной женой воеводского ключника, бежавшего с дощаника вместе с дворовыми.

– Так его здесь нет, – успокоил её Гришка.

Она осторожно села, укрыв ноги парусом, всхлипнула:

– Слышала, в Дауры бежите. Возьмите с собой... Будь что будет, а хуже не будет! Лишь бы подальше от мужа.

– Иди за меня! – предложил Гришка, шевеля ногами и любуясь обновкой. – Возьму с собой. А что? Я в самой силе, а невесты нет.

Настя смахнула навернувшиеся было слёзы, тихонько хохотнула, лёгким движением пальцев распустила платок, обнажив лицо.

– Я же старуха! Чуть не вдвое старше тебя. К тому же бездетная.

– Ничего не старуха! – всматриваясь в её лицо, неуверенно пробормотал Гришка. – Прокормлю как-нибудь. В Даурах разбогатеем.

Дощаник подошёл к хабаровской деревне. Какая-никакая, но была у бунтарей надежда раздобыть здесь ружья, порох, свинец, сабли. Всего этого у Хабарова было в избытке, но пограбить его людей было невозможно. Половники-половин-

щики, его дворовые люди, были сплошь из полка Онуфрия Степанова и могли дать такой отпор, против которого бунтарям не устоять. Пашенный приказчик Киренской волости, сын боярский Ерофей Хабаров, владел деревней, несколькими заимками с пашнями, двумя мельницами. Много лет он всеми силами пытался отпереться от долгов за Амурские походы, которые хитроумно вымучил с него прежний воевода Фаренсбах-Фаренцбеков, и это ему как-то удавалось. Отозванный к якутскому воеводе, князю Кутузову-Голенищеву, Хабаров продолжал с Чечуйского волока Якутского присуда управлять здешним хозяйством, сыновьями, дочкой, внуком и половниками-арендаторами.

Мишка Сапожник велел приткнуться к берегу против Бойдоновской заимки. С лицом, выдубленным ветрами и солнцем, изборождённым редкими, но глубокими морщинами, Семён Бойдон неспешно вышел к причалившему дощанику, молча уставился на беглецов льдинками глаз из-под суконной шапки, надвинутой на выгоревшие брови.

Хабаровский половинщик Семейка Фёдоров Бойдон ходил на Амур с Хабаровым в его первом походе. После ареста Ерофея служил на Амуре под началом Онуфрия Степанова, участвовал в обороне Комарского острога. До этого он был одним из первых промышленных на Лене, промышленял соболя, строил Верхоленский острог, сидел в нём с тунгусами в осаде от ангинских бурят, прижил там от крещёной бурятки двух сыновей, ходил на Байкал с Курбатом Ивановым. Едва

услышал, что Хабаров на устье Куты собирает вольный полк для похода на Амур, бросил жену, сыновей, как это было в обычае у сибиряков, ушёл за волей и богатством. Возвращался он после разгрома войска Онуфрия Степанова вместе с казачьим головой Петром Бекетовым, служившим там же рядовым казаком, оба были вызваны в Тобольск для сыска по жалобам на Ерофея Хабарова. В Енисейском остроге Бойдон встретил своего сына Ивашку, служившего там толмачом, искренне удивился, что тот так быстро вырос. Морща лоб и дёргая себя за бороду во время встречи, всё пытался посчитать, сколько же лет они не виделись. Узнав, что у сына уже есть свой сын, вдруг почувствовал себя старым, с большим запозданием захотел покоя и семьи.

После тобольского сыска перед главным сибирским воеводой Семейка вернулся в Верхоленский острог, нашёл свою постаревшую бурятку, бывшую покладистой женой, и осел с ней на пашне в хабаровской деревне. Второй сын, продолжая судьбу отца, мотался по промыслам сибирской тайги.

На осторожное приглашение Мишки Сапожника идти с ними в Дауры Бойдон только грустно улыбнулся в седую бороду, а узнав, что воевода убит, посочувствовал:

– Вам только и осталось выбирать меж плахой и Даурами. Земли там много, вдруг и прокормитесь.

К дощанику подходили пашенные с других хабаровских заимок. На предложение Мишки Сапожника за хорошие деньги или соболей продать оружие, порох и свинец, Бойдон

искренне рассмеялся, скаля поколотые остатки зубов:

– На свою плаху зазываешь?

В ночь на Петра и Павла заканчивался Петровский пост, в домах варили рыбу, призывая рыболова Петра впредь давать удачу в промыслах. Казачий пятидесятник и приказчик Никифор Черниговский не смыкал глаз с того утра, как отправил сыновей с дощаником. Летняя ночь на Петра и Павла показалась ему самой тяжелой и нестерпимо долгой. Семье было не до праздника. Жена, дочь-попадья и снохи перетаскали пожитки в приготовленный для бегства струг. Все понимали, если воеводские люди побили заговорщиков, семье Черниговского пощады не будет, надо скрыться от воеводского гнева. Предыдущий день и нынешнюю ночь Никифор то и дело выбегал на крыльцо, всматривался в полуденную сторону. Вот уж сквозь рассеивавшиеся облака зазолотилось солнце, потом поднялось в свой зенит и в его лучах наконец-то показался плывущий по течению дощаник. Никифор трижды перекрестился на восход. Могло случиться, что возвращался воевода. Пятидесятник приказал женщинам сесть в струг, а сам взбежал на пригорок. Разглядев на носу судна высокого и статного ссыльного стрельца Мишку Сапожника, радостно вскрикнул:

– Наша взяла! – И кинулся к домочадцам, сидевшим в струге.

– Слава тебе, Господи! Не оставил нас, грешных! – кре-

стясь, всхлипнула его жена, с кряхтеньем вылезла из струга, гружёного домашней утварью и одеждой.

Увидев дощаник под илимским флагом, торговые и промышленные люди погоста стали выбегать на берег, одни с недоумением, что воевода возвращается, другие – с радостью толкали друг друга, называя себя молодцами-удальцами, стали задирать ничего не понимавших торговых людей. Никифор с саблей на боку, с плетью за голяшкой ичига высмотрел на судне сыновей. Их лица, хмурые и виноватые, ему не понравились. Дощаник причалил на то же место, откуда ушёл, с него бросили сходни, первым спустился на берег Мишка Сапожник, двумя руками придерживая чьи-то ноги в чирках. На берег снесли убитых и тяжелораненых. Толпа встречавших и любопытных, крестясь, сбросила с голов шапки. Никифор Черниговский пристально ловил ускользавшие взгляды заговорщиков, не решаясь спросить про воеводу, которого надеялся при всех собравшихся поставить на колени перед дочерью и выпороть плетью.

Сошли на берег сыновья, все трое, один за другим. Никифор вопрошающе вскинул на них глаза.

– Убили воеводу, закололи в воде! – оправдываясь с виноватым видом, пожал плечами Федька. – Вырвался, хотел бежать!

– Ну и ладно, хлопот меньше! – пробормотал Никифор, надевая лисью шапку. – На всё воля Божья. – Блазнившееся ему мщение не сбылось, но надежды на царское прощение

уже не было.

С дурными испуганными глазами и включенной бородой, покрытый каким-то шлычком, по сходням воробышком соскочил Пётр Осколков. Никифор едва узнал своего степенного и самодовольного зятя. В толпе вскрикнула его жена, дочь Никифора, кинулась к мужу и с плачем повисла на его плечах.

– Живой, и ладно, – радуясь за неё, пробормотал Никифор и занялся делами.

Отобранные у воеводской семьи соболя, шубы, деньги, были тут же разделены на две части: одну общую, другую поровну между участниками нападения на дощаник. Доброты побежали к монахам с соболями, отобранными у промышленных и родственников воеводы, чтобы те отпели и похоронили убитых, другие кинулись грабить, скупать за бесценок непроданные товары из лавок торговых людей. Не для всех киренчан и гостей погоста Петровки случились радостными. С дощаника свели под руки визжавшую и проклинавшую грабителей вдову убитого воеводы. Ни серёжек, ни колец на ней не было, да и одета она была хоть и из дорогой ткани, но в рубаху и сарафан. Раненые, босые сын с племянником и смущённые подьячие повели её на воеводский двор, который был уже разграблен.

Затем толпа заговорщиков с примкнувшими к ним пашенными и промышленными, уже около сорока человек, со знаменем, отнятым у воеводы, под барабанный бой собра-

лась на казачий Круг возле съезжей избы.

– Мы государю не изменяем, – скинув шапку, напомнил Никифор. – Государев амбар не грабим, ключи от него при свидетелях передаю илимским подьячим Никите Иванову-Лазареву и Ивану Артемьеву-Распутину. Мы государева изменника и клятвопреступника Обухова наказали и пойдём на дальние государевы службы!..

– Микифорку атаманом! – выкрикнул кто-то из Круга.

– Мишку Сапожника! – неуверенно заспорил другой голос.

– Микифорку! – настойчивей закричали бунтовщики, бравшие на саблю дощаник. – Он побег готовил!

Служилые казаки, пашенные крестьяне из расказаченных запорожцев и стрельцов, слегка поспорив, перекрикивая друг друга, легко сошлись на пятидесятнике Черниговском. Недолго поотнекивавшись, тот поклонился на четыре стороны. Мишку Сапожника кликнули есаулом. Затем Федька Давыдов вытянул плеть из-за голяшки Никифора, трижды стегнул его по спине. Другой – ссыльный запорожец Федька Евсеев, сгрёб в горсть землю и размазал её по седеющей голове Никифора. Сибирь мирила бывших реестровых казаков, воевавших за поляков, самих поляков, ждущих обмена пленными, служилых выкрестов и бывших запорожцев, стоявших за царя и православную веру. На дощанике с покойным воеводой плыли четыре служилых ляха. Не противясь бунтовщикам, они равнодушно оставались на захваченном

судне и Киренском погосте.

Ещё одно дело было решёно. Бунтовщики разбежались продолжить грабёжи торговых и промышленных людей, искать по избам ружья, сабли, бердыши. Атаман, отряхнувшись от земли, надел шапку и вместе с есаулом отправился в монастырь. Монахи, строители и послушники, не желая вмешиваться в людскую суету на Лене, отпевали убитых. Едва они подошли, вкладчики с укором стали жаловаться, что пограблен монастырь. Как оказалось, сюда уже врывались киренские пашенные, отобрали и изорвали в клочья отводные грамоты, данные монастырю воеводой на ничейные земли, где многие косили сено. Едва закончилось отпевание, Никифор с Мишкой, смущаясь, подошли к монахам, попросили у Ермогена благословения, но чёрный поп им отказал, строго взглянув на атамана и есаула.

– Уходим на дальние государевы службы, отче! В Дауры, – поклонился бывший киренский приказчик Черниговский. – Без попа нам никак нельзя. Решили взять тебя.

– Я человек подначальный, – усмехнулся в бороду Ермоген, – без благословения преосвященного бросить братию не могу. Да и зачем вам я? У тебя зять – поп. И прошлые воры-беглецы уходили без попов.

– Молоучён зять мой, отче, – снова поклонился атаман, понимая, что они ведут игру для свидетелей и послухов. – Отпеть, окрестить толком не может, Благовест читает по слогам. Зато купи-продай – золотые руки. На кой нам такой?

Ещё и везти его надо силком – откажется ведь идти в Дауры. А поход опасный и долгий, без молитвенника никак нельзя. Ждать, когда ты получишь благословение, не можем, потому придётся взять тебя силком. Ты уж прости нас, Христа ради.

– Придётся подчиниться! – согласился монах. – Соберусь только. – Он направился в часовню, вскоре вышел оттуда с двумя образами, передал казакам их и свою крытую китайкой и поношенную лисью шубейку, затем снова скрылся за дверью и вынес большую, полтора на полтора аршина, икону, обёрнутую чистым холстом. Это был известный киренчанам образ Богородицы со Спасителем в груди и опущенными руками. Ергоген откланялся братии, назначил вместо себя строителем монастыря старца Варлаама, с двумя казаками, принявшими образа Спаса, Николы и монашескую шубу, ушел с большой иконой в руках к берегу Лены на дощаник, оставленный под надзором заговорщиков – братьев Семёновых, Артёма и Карпа.

О чём-то тупо соображая, ему вслед долго смотрел монастырский вкладчик Софон Емельянов. Бывший промышленный, всю жизнь прогонявшийся за ускользавшим богатством, сутулый, с измождённым беззубым лицом, на котором из-под сухой обветренной кожи выпирали кости черепа, с задравшимися к ушам плечами, он пошевелил бородой, вернулся в келью, собрал свои зимние вещи и, не прощаясь с монастырской братией, ушёл следом за Ергогеном.

Братья Семёновы, томясь бездельем в такое буйное вре-

мя, с важным видом сидели на дощанике, свесив за борт ноги в чирках. Возле сходней, против них на берегу собралась толпа самых беспутных киренских бездельников, которые лениво перебрасывались с братьями пустяжными вопросами и советами. Обняв руками острые коленки, свесив на них тощую, бедняцкую бородёнку, среди любопытных сидел известный всему Киренскому присуду бессребреник, устюжанин Кондрашка Суханов. Голова его была покрыта нелепой шапкой из бересты, по бокам от него вертели головёнками сыновья-двойняшки. То посмеиваясь, то язвя по поводу наказания за побег, он тоже выпрашивал заговорщиков про их надежды. Два русоголовых мальчонки внимательно прислушивались к разговорам старших.

Кондрат, как и Софон, ушел в Сибирь за богатством и волей ещё до «Соборного уложения» царя Алексея Михайловича, закрепощавшего всех жителей на их местах, в их общинах. Вместе с сотнями таких же беглецов, покидавших родину в надежде на скорое возвращение, он промышлял соболя и зверя, воевал, подённо работал за прокорм и тёплый угол в зиму. Надежду разбогатеть и вернуться в Устюг Кондрат давно потерял. После неудачных промыслов на Лене нанялся в работники к овдовевшей литвинке. И хотя вдова, по грехам своим, родила от него двойняшек Пашку с Федькой, которых с виду различал только отец, Кондрат оставался при ней бесправным работником, был притесняем полюбившей вдовицей, но продолжал жить в чужом доме ради сыновей.

Между тем на дощанике полным ходом шла приборка и восстановление порядка. Анфиса-атаманша и её дочери – жена освобождённого илимского целовальника Петра Осколкова с попадьёй, сноха Евгения – жена старшего сына, Федьки, Устинья – жена среднего сына, Анисима, с другими жёнами и дочерьми бунтовщиков, подоткнув полы по-нев и сарафанов, отмывали палубы и соскабливали пролитую кровь. Среди них суетились крещёная эвенкийка Фёдора Евсеева и его полукровная младшая дочь Марийка, с белым лицом и чёрными приуженными глазами, с густой косой в цвет воронова крыла. Обе они, обуянные природными страстями к перемене мест, тут же раздумали готовиться к свадьбе и выходить замуж. Евсеевиха переживала, что при ней нет любимого тунгусского многослойного лука и собак. О собаках она сожалела больше всего.

К сходням подошли монах Ермоген с атаманом Никифором и есаул Мишка Сапожник. Поднялись на ноги и поклонились в пояс монаху братья Семёновы. Встала на ноги толпа бездельников на берегу. Ермоген, перекрестив грудь, степенно поднялся по сходням, принял большую икону, расставили на носу судна образа Спаса, Николы, Богородицы. Следом за атаманом и есаулом на палубу поднялись десятка полтора казаков, участвовавших в нападении на воеводский дощаник. Никифор смахнул с головы шапку, поклонился монаху и неуверенно спросил:

– Молебен об окончании поста отслужишь ли?

– Тут пахнет кровью. На вас великий грех человекоубийства, прежде надо покаяться, – опустив глаза, ответил ему Ермоген.

Казачи зароптали, что подлинные убийцы воеводы, его слуг и промышленных валяются пьяными в квасной избе, сперва пусть протрезвеют, потом все вместе будем каяться. Чёрный поп снисходительно усмехнулся, закрепил свечку под образом Богородицы и стал раздувать кадило. Бунтовщики один за другим едва ли не на цыпочках смущённо оставили дощаник. Атаман Никифор потоптался на месте, покаянно развел руки и нахлобучил шапку. Братья Семёновы стали требовать перемены. Атаман скользнул рассеянным взглядом по судну, заметил юнца Гришку Аксамитова, оставил его вместо Семёновых и, к печали монаха, тихонько ушёл следом за всеми. Но на палубу с узлом одежды на плечах взошёл монастырский вкладчик Софон.

– Ты-то зачем здесь? – досадливо спросил Ермоген. – Вроде помирать собирался, домовину себе тесал?!

– Тоска-кручина сердце сушит, – крестясь и всхлипывая, забормотал монастырский вкладчик. – Всю жизнь бродяжил, а тут другой год на одном месте. Спать не могу ночами, а надо ещё молиться. Днём братия работает. Я от бессонницы едва ноги таскаю, а Господь по грехам всё не прибирает. Может, в пути помру?! Поди, не откажешь отпеть мя, грешного?!

В это время бунтовщики с примкнувшими к ним каза-

ками, промышленными и пашенными людьми собрались в питейной избе квасного откупщика. Атаманша сходила туда с котлом, принесла браги на дощаник. Женщины, закончив приборку, устроились под палубой, выпили и тихонько запели, во всём полагаясь на мужей и отцов. И только Евсеевиха горько плакала о собаках, которых бросила в усадьбе. Дочь утешала её, дескать, собаки при доме, при людях, при зятях.

– Плохие охотники! – шмыгнула приплюснутым носом эвенкийка. Зятья ей не нравились. – И твой жених плохой охотник, на Амуре найдём хорошего.

Её молодая дочь, толком не дозревшая до замужества, об оставленном женихе ничуть не печалилась.

В квасной избе продолжался разговор о бегстве и Амуре. Многие восставшие против воеводы осуждали убийц, что умертвили Обухова, а не пленили, как было оговорено.

– Ну, выбрался бы он на остров, там бы его и связали, – горячился есаул Сапожник.

Но убийцы спали, их, на удивление, быстро развезло. С перекошенным, несчастным лицом спал не в меру выпивший Ивашка Перелешин Мельник. За них за всех отбрехивался Федька Давыдов, который кричал вслед плывущему Обухову и стрелял в него из лука.

– Да кабы он ушёл, что бы было? Сейчас бы побитый заплечник выворачивал нам руки, а тот гадёныш, прости господи! – Размашисто перекрестился. – Посмеивался да потирал ладошки.

– Так ему и надо! – кричал подвыпивший атаманский сын Федька Черниговский. – За всё Бог спросит!

– Что сделано, то сделано! – соглашался атаман, сидя в центре круга и задумчиво накручивая ус на палец. Онпил брагу наравне со всеми, но был трезв и рассудителен. – Время думать, как дальше жить. А за убийство со всех спросят одинаково.

– Теперь только в Даурах спасёмся, – бесшабашно хмыкал его сват, Оська, обсасывая от браги длинные запорожские усы.

Присоединившиеся к беглецам поляки латинянской веры: Ивашка Сташкеев, Гришка Кулаковский и воеводский повар Станька Каурко много пили с приставшими к ним служилыми поляками-выкрестами Охтовиным и Абрамовским, которых застали на Киренском погосте. Все они были с выбритыми лицами, иные с серьгами в ушах, громко бжекали между собой о чём-то своём, пока не заговорил атаман. Тогда они умолкли и стали слушать.

– Все мы говорили с выходцами с Амура, все любопытствовали про тамошние богатые хлебные места, в которых Поярков довел половину своих людей до людоедства, а Ярко Хабаров перессорил казаков и воевал даже со своими.

– Ярко – не казак, хоть новгородец по роду... Он душой москвит. Я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак. По-другому у них не бывает! – Оська Подкаменный обвёл всех соловым взглядом, будто спрашивал, кто с ним не со-

гласен. Пьющие загалдели. Оська громче, чуть не в крик, завозмушался, крестя грудь: – Вот Онуфрий Степанов, царствие небесное, – казак и атаман от Бога. С таким служить и погибнуть в почесть.

– Вот и погибло по доброте его полвойска! – возразил хмуро молчавший до этого Федька Евсеев. Как и другие запорожцы, он когда-то добровольно вышел на Русь служить православному царю в войне против поляков, а его поставили в городовые казаки да ещё в подчинение к пленному ляху. – Кабы Онуфрий жёстко, как Хабаров, прошёлся по Амуре, так и долгой войны бы не было.

Беглецы стали кричать в споре, перебивая друг друга.

– От Хабарова даурцы бежали, едва завидев казаков... Думали, людоеды...

Квасной откупщик этих криков не слушал, с несчастным видом хлюпал носом и вытирал слёзы: бражная варка была наполовину выпита, понятно, без всякой платы, посуда, кося, топоры, пилы разграблены, перегонный котёл с трубами унесён на дощаник.

Атаман постучал саблей по столу, призывая к тишине, и снова рассудительно заговорил:

– И Поярков, и Хабаров с Онуфрием хлеб у даурцев отбирали. Без этого им – голод и гибель. Если мы будем сеять свой – голода не будет и с даурцами станет мир...

Его слова опять вызвали громкий спор. Сват Оська громче всех кричал, что ему – казаку, столько лет ковырявшему

землю по царскому указу, не пристало браться за то же самое на Амуре. Уж лучше, как прежде, сидеть под бабьим подолом, терпеть и помалкивать.

К бадье с варкой протиснулся Кондрашка Суханов в берестяной шапчонке. Оська насмешливо взглянул на него, бо-сого в кожаной рубахе:

– Кто с нами гулял, тому наши кнуты делить!

– Не убудет! – беззаботно рассмеялся Кондрашка, выцедил сквозь зубы полкружки браги, прихватил со стола калач, занюхал и вышел к ждущим его сыновьям. – Перекусите! – разломил надвое хлеб. – Не податься ли и нам в Дауры?

– Хорошо бы! – в два голоса залопотали сыновья, торопливо пережевывая хлеб свежей выпечки. – Дома кому нужны?.. Только как без обуток? – указали на босые ноги.

– Добудем в пути! Не впервой! – рассмеялся отец.

Подвыпивший Мишка-есаул стал насмехаться над изрядно пьяным уже воеводским поваром Станькой Каурко:

– Тебя-то какого ляда к нам прибило? Пока плыл до погоста – тебе грозили батоги, коли пил вместе с нами – уже кнуты?!

Полный, с круглым красным лицом и пухлыми вислыми щеками повар был белобрыс, лыс и держался среди гуляк с непомерной важностью.

– Туда и дорога вашему воеводе, – хмыкнул с неприличной злостью для его добродушного лица. – Дикий, хоть при должности и вид был начальственный. Уху требовал себе на стол

несолёной. В приправах ничего не понимал. Да я таких едоков сам бил бы батогами, а не ставил в должность.

Сумерки над Леной перешли в летнюю ночь с далёкими, едва приметными звёздами, а в квасной избе всё рядились, спорили, делили захваченных соболей и воеводские деньги. К беглецам добровольно пристали молодые полукровки нового поколения: сын илимского поляка-выкреста Онички Мыльника: долгоносый кучерявый Гришка Мыльник с круглыми чёрными глазами навывкате и коротконогий, дородный круглолицый, почти безносый казачий сын Васька Родионов, известный своей драчливостью и вздорностью. Обухов привёз Гришку в выбылый казачий оклад, а вот Ваську службой обошли, но он как-то завистливо задружил с прибывшим илимским ровесником. Сидя рядом, они пили брагу наравне с матёрыми казаками. Гришка Мыльник приставал с разговорами к полякам и порывался запеть на их языке, что помнил от отца, Васька же с каждым глотком браги всё громче сопел приплюснутым носом, его брови на широком якутском лице то строго опускались, то задирались одна против другой. Похоже, казачьих разговоров и рассуждений он не слушал, а, вылебав кружку, поднялся в рост и заорал:

– Несправедливость! Поровну надо делить добычу!

Беглецы удивлённо притихли. Федька Черниговский насмешливо спросил:

– Какую добычу?

– Что на воеводском дощанике взяли!

– А ты там был?

– Всё равно поровну! – упрямо взревел Васька. – Нам с вами поровну кнуты делить и добычу надо поровну.

Спорить с ним не стали. Те, кто хорошо знал бесноватого парня, просто вытолкали его из квасной избы. Пару раз пнув дверь, Васька упал под стеной и уснул. В избе продолжился неторопливый разговор или сговор на будущее.

Чёрный поп Ермоген с молитвами окуривал дощаник от бесов и пролитой крови. В бывшей воеводской каюте, тихонько попивая бражку, мирно переговаривались жёны и дочери беглецов. Юнец Гришка, оставленный атаманом караулить дощаник, барахтался под парусом на корме.

– Не переживай, милый! – ласково шептала ему жена воеводского ключника. – Бедненький! Да у тебя этого никогда не было. Всё получится. Тут баба – всему голова.

Не имея при себе ни ложки, ни плошки, в летней одежде, боясь быть найденной мужем, Настя не открывалась никому, кроме нашедшего её Гришки. У него же эта ночь была самой короткой, а караул самым счастливым. Двое полюбовников не услышали, как к ним подошёл Ермоген, вздрогнули, откинули парус и сели:

– Прелюбодействуете на крови?!

– Прости, отче! – Растрёпанная Настя испуганно перекинулась на колени. – Грешна, сучка старая! – залилась слезами. – Муж верой и правдой служил убиенному воеводе, во

всём ему угождал, а тот меня насиловал. Пожаловалась мужу – он меня побил, но ни словом не вступился. Потом стал бить без жалоб, из ревности.

– Я не Бог, чтобы прощать, осуждать и наказывать. Разве могу помолиться за вас, если покаетесь.

– Заступись, батюшка! – слёзно взмолилась Настя, заправляя растрёпанные волосы под платок. – Не бросайте, возьмите в Дауры.

– С такой просьбой к атаману и казакам, – сухо ответил Ермоген. Помахивая кадиллом и бормоча молитву, двинулся дальше вдоль борта.

Гришка и Настя с опаской посмотрели ему в след и снова укрылись парусом.

– Не брошу, заступлюсь, – обещал он. – Меня послушают, я на саблю брал воеводский дощаник... Ты моя ясырка и доля с добычи.

– Хоть бы так. Лишь бы не прогнали, – вздохнула женщина.

В квасной избе той ночью не было ни песен, ни плясок, пристойных для окончания поста, беглецы пили брагу и говорили о своей дальнейшей судьбе. Едва засветлели и без того редкие летние сумерки, Никифор поднялся на дощаник, за ним потянулись остальные беглецы, которых насчитывалось уже около четырех десятков. Проспались убийцы воеводы, проспался Васька Бешеный и с припухшим, поку-

санным гнусом лицом вместе со всеми потянулся к дощанику. Все приставшие к ватаге на Киренском погосте понимали, что после грабежей и пьянки с убийцами они в лучшем случае отделаются поркой кнутами. Поляки в грабежах не участвовали, как иноземцы и иноверцы они могли надеяться на некоторую милость от власти, но после присутствия на казачьем Круге и в квасной избе понимали, что порки им не избежать.

Дощаник был отмыт и вычищен женщинами. Гришка в красных сапогах со свежим, сияющим лицом выполз из-под паруса и предстал перед атаманом. Чёрный поп Ермоген без тени сна в лице продолжал молиться на носу дощаника в закутке перед тремя иконами: в середине Богородица, справа суровый лик Нерукотворного Спаса, слева – Никола с занесённой саблей в руке.

Едва только на версту стала просматриваться река, беглецы оттолкнули дощаник от берега, течение Лены подхватило его и повлекло к слиянию с Киренгой, где становилась вдвое шире и глубже. «Отче Никола, моли Бога о нас!» – сипло запели на судне и подняли на мачте илимское знамя. Возле стрелки, против креста, поставленного Ерофеем Хабаровым, парус схватил утренний попутный ветер, и дощаник пошёл вдоль высокого берега, подступавшего к самой воде.

Ермоген в полный голос стал читать покаянный канон Пресвятой Богородице. Беглецы с атаманом, есаулом и женщинами попадали на колени, убийцы с хмурыми, похмель-

ными лицами били лбами о палубу, но истинного душевного покаяния в их лицах Ермоген не видел. Один только Ивашка Перелешин-Мельник обливался слезами, всхлипывал и хватался за голову. Во время молебна открылась беглецам ключникова жена Настя. Стоя на коленях, она тоже била лбом о палубу, с мольбой глядела на чёрного попа, заставшего её при прелюбодеянии. На неё удивлённо косились женщины, а Мишка-есаул, разинув рот от удивления, забыл про молитвы. Едва закончился покаянный молебен, полтора десятка казаков, громивших воеводских дощаник, смущённо зароптали:

– Во власти и при власти подлецов бесчисленно... Что будет, если терпеть их всю жизнь? Мир под себя подомнут...

– Господь проклял властолюбцев, – со вздохом согласился Ермоген, – но Он же проклял и тайно убивающих своих единоверцев. Власть – соблазн власть имущих и их великий грех, безвластие – гибель народа. На том всё стоит. Сказано: око за око, зуб за зуб, руку за руку, но не более...

– А как быть мне с сыновьями? – слёзно вскрикнул атаман Никифор. – Дочь снасильничал, гадёныш, прости господи! – Махнул щепотью со лба на живот, с плеча на плечо. – На кол его посадить или испоганиться содомским грехом?

Зароптали и другие, битые кнутами и батогами, обираемые и незаконно принуждаемые.

– Молитесь! Господь вразумит! – Отмахнулся от их вопросов Ермоген. Он хотел уединиться в своей молитве перед

образами, но ему напомнили:

– Петров день, батюшка! Нам без Пётры ни рыбы, ни мяса, ни рухляди не добыть. Ты уж почитай, что пристало в этот день...

Ермоген окинул спутников страдальческим взглядом и с притаённым вздохом стал читать молитвы святым апостолам Петру, Иакову, Иоанну, некогда в продолжение ночи рыба-чавшим и ничего не поймавшим. Но ещё раз забросили сеть по слову Спасителя и поймали столько рыбы, что сеть порвалась. В лицах страстно молившихся спутников Ермоген увидел то, чего не заметил при покаянии: надежду и веру.

Беглецы засуетились, стали собирать плату крадеными деньгами и соболями. Ермоген от них брезгливо отказался.

– Ты-то как тут оказалась? – кинулся к Насте есаул, не сводя с неё восхищённого взгляда.

– Бежала от мужа, воеводского прислужника, – смущённо отвечала она, опуская ласковые глаза.

– А я от жены! – глуповато хохотнул Мишка и приосанился: – Первый раз увидел тебя ещё на ярмарке, аж обомлел: бывает же такая... Может, вместе побежим счастья искать? Вдруг найдём? А что, я за такой красавицей хоть на край света, хоть к чёрту на кулички.

Настя зарозовела, засмушалась, уже этим подавая надежду казаку. Тот протянул было руку, чтобы дотронуться до её плеча, но её откинул возмущённый Гришка Аксамитов:

– Не хапай, моя!

Статный есаул с высоты своего роста окинул юнца насмешливым взглядом, не снизошёл до разговора с ним и опять перевёл глаза на женщину. Она потупилась с блеснувшими слезинками и отошла в сторону. А Мишке попали на глаза сухановские мальчишки. Он часто замигал и удивлённо пробормотал:

– Двоится с перепою или что?

– Нас двое, мы – братья! – привычно стали оправдываться Пашка с Федькой.

Есаул не обошёл стороной и монастырского вкладчика:

– А ты, старый, какого ляда за нами увязался?

– Господь надоумил! – жалобно пролепетал Софон и перекрестился.

– Ладно, до Олёкмы отсидишься на дощанике, а там, дальше, сдохнешь ведь в бечеве. Кто тебя на себе потянет?

– Ну и ладно! Закопаете где-нибудь мя, грешного. А я помолюсь за вас перед Господом.

Мишка строго рыкнул, не зная, как поступить со стариком, но вынужден был смириться: не бросать же его за борт! Снова стал разговаривать с Настей.

– На кой тебе юный недопёсок? Иди со мной. Не брошу, прокормлю.

– Он ласковый, – печальными глазами глядя на есаула, оправдалась Настя. – Обижать не будет. А ты большой и сильный, станешь бить, как муж.

– Сроду баб и девок не бил, – удивился Мишка, не сво-

дя пристальных глаз с женщины. – Разве иногда ругал, и то нечасто.

– Чего пристал? – со слезой в голосе возмутился Гришка. – Я тоже получил пай с добычи, как-нибудь прокормлю.

– У тебя хоть одежонка-то к зиме есть, или всё на тебе? – не обращая внимания на юнца, продолжал расспрашивать есаул.

– Всё на себе! – тихо ответила Настя, опуская глаза на свои чирки, богато украшенные бисером. – Были рысья шубейка, овчинное одеяло, суконная понева, так вы же всё забрали.

– А ты что молчал, жених? – Есаул строго спросил Гришку, лопотавшего что-то о справедливости.

– А кто меня спрашивал? – слезливо воскликнул юнец.

Мишка спустился под палубу, с кем-то там громко переругался, поднялся с одеялом и женской шубкой в руках.

– Спасибо, Мишенька! – расплакалась Настя. – Дай бог тебе крепкое здоровье и жену ласковую.

– Не надо мне никого, кроме тебя! – Есаул метнул на Гришку разъярённый взгляд. – Чтобы ичиги и бахилы справил, в таких чирках далеко не уйти, – указал глазами на Настины ноги.

Он понимал, что Гришке просто повезло: то ли Бог наградил, то ли бес попутал. Настя, брошенная мужем, прилепилась к первому попавшемуся мужчине, без которого бежать в Дауры невозможно. Одинокую и венчанную женщину, бежавшую от мужа в чём была, заклевали бы замужние бабы,

а мужики из-за неё передрались.

Глава 2

На Никольском лугу было уже несколько прокосов, душисто пахло свежим, подсыхавшим сеном. По случаю Петровок поп Фома и его пристав отдыхали. С недоумением разглядывая знакомых людей, они вышли на берег к приткнувшемуся дощанику. Поп выпучил глаза и разинул рот, увидев свою жену. Федька с братьями соскочили на сушу, сняли сестру с борта и поставили перед мужем. Заливаясь слезами, она упала перед ним на колени. Ничего не понимающий поп завертел головой с редкой бородой с растрёпанными волосами до плеч.

– И тебя и попадю опозорил «бывший», – размашисто перекрестился Федька. – Но мы отместили.

– Как? – испуганно переломился в пояснице Фома.

– Утопили насильника! – молодецки подбочениваясь, объявил Федька.

В прищуре глаз Фомы блеснули плутоватые искорки, будто первой была мысль, какую выгоду можно получить от известия и какие беды могут последовать. Это не укрылось от братьев, готовившихся утешать попа и защищать сестру. Они смутились, оставили супругов наедине, помогли матери спуститься на берег. Поп поднял жену с колен, она с рыданиями повисла у него на шее, он же, торопливо о чём-то соображая, зыркал по сторонам, будто обнимал не женщину,

а бревно.

Между тем её братья сходили на заимку, по-хозяйски забрали там косы и котёл. Поповский пристав стоял в стороне и покорно молчал, не зная, что ему делать. Следом за атаманскими сыновьями прошмыгнул в избушку Кондрашка Суханов, выскочил из неё, торопливо озираясь, засеменил к дощанику со свёртком под мышкой. В это время атаман Никифор убеждал зятя идти в Дауры. Поп слушал тестя рассеянно в пол-уха и молча мотал головой, затем отстранился от жены, вытиравшей слёзы, и решительно, в голос, отказался бежать со всей семьёй. Его теща всё поняла, перекрестила дочь, благословляя на дальнейшую жизнь:

– Жена за мужем, как нитка за иголкой! – сказала со слезами и закрыла лицо руками.

Никифор не позволил сыновьям ругать попа, хотя те уже чертыхались, кидая на него разъяренные взгляды. Они оторвали мать от дочери, хотели увести на судно, но она вдруг воспротивилась:

– Коли дочь-попадья остаётся, и я останусь! Не одна, не пропаду!

Никифор её решению удивился: никогда прежде она не противилась мужу, но спорить и упрекать не стал, равнодушно пожал плечами:

– Ну и ладно! Устроюсь на новом месте приеду, заберу.

Наконец, он обратил внимание на пристава, стоявшего в стороне. Пристав был из бедных казаков, тянувших служеб-

ную лямку по принуждению. Посоветовавшись со своими людьми, атаман решил заплатить ему за взятое на заимке добро, дав из общей части добытого на грабеже кумган медный лужёный и три медных братины.

Беглецы стали отталкивать дощаник от берега, на суше остались пристав да попададя с матерью и попом. Ермоген пристально разглядывал Фому с борта. Никифор, оправдываясь, обронил:

– Торгаш в рясе!

– Кто-то же рукоположил?! – неприязненно пробормотал Ермоген в бороду.

Никифор не расслышал сказанного, переспросил, но чёрный поп повторять не стал.

Едва дощаник скрылся за поворотом реки, поп Фома окликнул пристава:

– Надо возвращаться! – заметал торопливые взгляды на жену и тёщу. – На Киренге безвластие, дом могут пограбить...

– Наверное, уже пограбили, – безвольно махнул рукой пристав. – И баб не бросишь?! – то ли спросил, то ли подсказал попу, что вдвоём они могли бы добраться до погоста быстрее.

В это время Кондрашка Суханов на корме, под бортом дощаника примерял поповскую однорядку на себя и стоптанные до дыр чирки – на сыновей, одну пару на двоих.

– Разживёмся еще! – беззаботно подбадривал мальчишек.

Беглецы ненадолго приткнулись к берегу против заимки пашенного Мартына Пахорука. Крестьянин жил крепко, на прелестные речи беглецов бросить хозяйство, идти в Дауры, посмеялся.

– Знаю, у тебя две пищали! – крикнул с борта атаман. – Отдай добром?!

Мартын ухмыльнулся:

– Даром, что ли?

Федька Черниговский с братьями, с Гришкой Мыльником и Васькой Бесом, спрыгнули на берег. Двое молодых скрутили Мартыну руки и держали, пока Федька с братьями без дозволения хозяина обыскивал его дом. Кричала жена, орали дети, помалкивали работники. Васька с Федькой нашли в чулане две пищали – винтовую и гладкоствольную, выложили на стол пять соболей и вышли. Больше они ничего не брали. Мартын, вырвавшись из державших его рук, вцепился в ружья:

– Не дам! Им цена двадцать рублей, а вашей рухляди – пять!

– Тебе пищали без надобности! – Федька оттолкнул пашенного, не желая торговаться. Бунтовщики вернулись на дощаник с ружьями и снова поплыли по течению Лены. По пути, на заимке пашенного Анцифорки Ананьина, они забили быка. Хозяина дома не было, за мясо заплатили жене бисером, пообещав по возвращении втрое одарить богатствами Амура.

На другой день беглецы привели дощаник к Чечуйскому погосту. К этому времени ночное киренское гулянье начисто выветрилось из их голов. Начиная новую и прощаясь со старой опостылевшей жизнью, все они были веселы и возбуждены. Повеселел и помолодел с виду даже беглый монастырский вкладчик. Один только Иван Перелешин-Мельник искал уединения и молился с несчастным лицом, неподходявшим его ладному виду.

От Чечуйского погоста начинался проторённый волок в верховья Нижней Тунгуски. На берегу Лены стояли с десятков домов, не огороженные тыном таможня, съезжая изба и часовня на подклете. Приказчиком волока был Иван Бурлак, при нем служили два подьячих, которые собирали подушные пятинные деньги с торговых, пашенных и промышленных людей. Волок не подчинялся Киренскому приказчику, здесь было уже Якутское воеводство. Слухи об убийстве воеводы сюда ещё не дошли.

Бурлак с недоумением встретил дощаник под илимским знаменем почти с полусотней знакомых ему казаков и пашенных людей.

– А чего это народу, как опят на пне, и все веселы? – пробормотал удивлённо и вскоре догадался, что случилось и куда могут плыть киренчане на воеводском судне. Среди них были чечуйские пашенные, ездившие на киренскую ямарку, и чечуйский мельник. На берег высыпало все население погоста. Люди стояли молча, смотрели на дощаник и на ве-

сёлых бунтарей. Ивашка Перелешин-Мельник с перекошенным лицом спрыгнул на берег, ни на кого не глядя, побежал к своему двору.

– Что такие весёлые? На свадьбу плывёте? – крикнул Бурлак Никифору.

– В Дауры идём, на дальние государевы службы! – молодецки придерживая саблю, откликнулся атаман. – Кто с нами на вольные земли – бросай постылое тягло, бери пашенный завод, ружья, животы: на Амуре не голодают и воевод там нет.

К удивлению бунтарей, чечуйцы продолжали молча глядеть на них, и никто не тронулся с места. Двое чечуйских пашенных, бывших на ярмарке, следом за мельником спрыгнули на берег, пошли к своим домам, чтобы собрать пожитки в дальний путь. Возмущённый равнодушием чечуйцев, Никифор стал стыдить их:

– Вы же вместе с нами прилагали руку к жалобной челобитной на воеводу Обухова. Он нас пытал за неё, спины выворачивал, огнём грозил...

– А где воевода? – настороженно спросил Бурлак.

– А в Лене-реке! – скинув лисью шапку, перекрестился Никифор. И молчание чечуйцев стало ещё напряжённей.

Среди людей, собравшихся на берегу, Никифор высматривал и не находил Ерофея Хабарова. Прошлым летом по приказу воеводы приставы увезли его в Якутский острог на правёж по долгам казне. Но изворотливый на язык Ерофей

как-то сумел убедить воеводу – стольника Кутузова-Голенищева, отпустить его на зиму на край Якутского воеводства. В свои деревни, приписанные к Илимскому острогу, он явиться не посмел, зимовал здесь, тянул время и правил уездом отсюда.

– Какого воеводу? – с ухмылкой переспросил Бурлак. – Лаврентия Авдеевича, что ли?

– Его, бывшего казачка Лаврушку! – сбившись с прежнего удалого тона, подтвердил Никифор. – И тебя с собой возьмём! – пробормотал, рассерженный ухмылкой приказчика.

– Ещё бы на плаху за собой позвал! – огрызнулся Бурлак.

Между тем чечуйский мельник с сыном и дочкой спешно переносили на дощаник пожитки: серпы, топоры, конскую сбрую, мельничиха Анна торопливо торговалась с соседями за козу. У Ивашки Перелешина был свой струг, он с сыном уложил в него пожитки, Анна с дочкой торопливо осматривали дом и чулан. Никифор в прежние годы не раз видел мельничиху и удивлялся, чем она, некрасивая, могла так прельстить Ивашку, высокого, стройного, белолицего парня, с русыми волнистыми волосами и пышной моложавой бородой, что тот ради неё бросил дом и бежал в Сибирь без благословения родителей? Он думал, не иначе как хитрая девка приворожила красавца. А тут впервые разглядел её иначе, чем прежде: радостную, улыбающуюся, и удивился, как улыбка преобразила лицо женщины. Он даже залюбовался ею.

Жена другого бунтаря, Микулиха, выгнала мужа из дома, в чём тот пришёл, заявив, что проживёт без него. Затем, буд-то сжалившись, выбросила за ворота овчинный полушубок, ичиги и шапку.

Озлившись равнодушием чечуйцев, бунтари сошли на берег и стали их грабить. Бурлак был казаком, оружие у него было, но в доме его не нашли, стали водить приказчика по селению с заломленными за спину руками, требуя показать, у кого есть ружья. Жена Бурлака не выдержала и выбросила из чулана гладкоствольную пищаль, чтобы не мучили мужа. У торгового Васьки Протопопова забрали двести пудов муки и пищаль, за всё заплатили пять рублей, шестнадцать соболей и два сорока белок. У промышленного Архипа Васильева забрали восемь мешков муки и мешок ржи, три топора по рублю, рублёвую сковороду железную, лыжи подволошные, а дали за все горностаевую шубу, снятую с воеводской вдовы. Взломали подклет Богородичной часовни, под которой был амбар, безвозмездно забрали собранные там по кабальным записям тринадцать пудов муки, семь пудов соли, одежду и обувь. Затем они силой привели на дощаник чечуйского подьячего, заставили его писать заручную покаянную и жалобную челобитную на изветы воеводы Обухова.

Подьячий всем своим видом показывал, что делать этого не хочет, часто обмакивал перо в чернила из сажи и рыбьего клея, скрипел им по бумаге, много раз неприязненно переспрашивал одно и то же, закончив писать, присыпал песком

бумагу и вытер пот со лба. Никифор грамоты не знал, бегло взглянул на челобитную, передал её своему грамотному сыну Анисиму. Тот стал сбивчиво читать вслух, раз и другой удивлённо замычал. Ергоген рассерженно взял челобитную из его рук, почитал про себя, сказал, что написана она плохо и неправильно, подписывать такую нельзя, попросил чистый лист, сел и стал писать сам, ровным, убористым почерком, оставляя свои подписи на скрепах. Затем прочитал вслух. Беглецы доброжелательно загалдели, соглашаясь с каждым словом.

Мишка-есаул стал читать по слогам листы, написанные чечуйским подьячим, при этом с укором тыкал пальцем в его сторону и грозил. Петька стоял с понурым видом и водил глазами по сторонам. Беглецы возмущённо загалдели, схватили его за руки, за ноги и бросили за борт, в воду. Подьячий подхватил мокрую шапку, в несколько взмахов выплыл на мель, оставляя за собой мокрую полосу и хлюпая чунями, ушёл в съезжую избу.

Беглецы поставили подписи под заручной челобитной, снова привели на берег чечуйского приказчика, при многих свидетелях заставили его принять челобитную и сделать о том запись.

Дело было сделано. Бунтари отправились в квасную избу к квасному откупщику Ивану Пивоварову и загуляли, без платы выпив варю хмельного кваса, во хмелю они ограбили его избу, забрав косы, топоры, пилы, клещи, наковальню, посу-

ду, сманили в Дауры работника-должника. Кондрашка вместе со всеми выпил не больше полкружки, сунул за пазуху ковригу хлеба и прихватил дублённую овчинку на чирки сыновьям. Спасая свою голову, откупщик молчал и радовался, что при нём не нашли денег. Подвыпивший есаул вернулся на судно одним из первых, разыскал Настю, сидевшую рядом с Гришкой, не глядя на юнца, стал звать её за себя для грешной любовной жизни. Гришка возмущённо срамословил, как пёс кабысдох. Есаул его не слушал, пристально глядя на женщину.

– Прости, Мишенька, не могу бросить Гришу! – сказала она, да так ласково, что есаул едва сдержался, чтобы не обнять её, но со вздохами и рассерженными рыками отступился.

На рассвете беглецы оттолкнули дощаник от берега и поплыли дальше. Полусотней верст ниже, в Половинной заимке, жил и по принуждению пахал государеву десятину бывший промышленный – Федька Москва. Он участвовал в первом походе Хабарова, вышел с Амура вместе с Ерофеем, и был посажен в пашню выше Киренского погоста. Оттуда он бежал в Онуфрию Степанову, вернулся после его гибели и разгрома войска, снова был посажен в пашню, теперь уже ниже Киренского. Федька хорошо знал путь на Амур и был нужен беглецам. Никифор решил, если он заартачится, взять его силой. Но тот едва не пустился в пляс, встретив дощаник с беглецами.

Рыжий, губастый, с красным, обгоревшим на солнце лицом, он закричал в голос:

– А то как же? Есть пищаль и пальма, два топора, плуг. Забирайте, что унесёте, не жалко. Кабанчика зарежем. Кур переловим. Жаль коня с коровой бросать, отпущу, не пропадут, они казённые, новый хозяин найдётся.

Федька быстро собрал свои вещи, беглецы помогли ему перенести на дощаник всё, что могло пригодиться на Амуре, и, оттолкнувшись от берега, поплыли дальше по Лене. Федька, обходя судно, весело приветствовал знакомых казаков и промышленных, увидев Ермогена, радостно завопил, не по чину бросился ему на грудь обнимать. Монах строго отстранился:

– Ты кто?

– Да Москва я, Федька Москва! Причащался у тебя на Зее, молился на твоём Спасском церковном коче... Да вот же, те самые иконы. Говорили, после нашего погрома на Сунгари вас унесло в море. Думал, погиб, поминал тебя! – Слова так и сыпались из нового беглеца.

Ермоген, болезненно хмурясь, бросал на Федьку укоризненные взгляды. Беглецы, ничего не знавшие о прошлом чёрного попа, удивлённо переглядывались.

– Ну и ладно, господь с тобой! Вместе вернёмся в Дауры. Ты что же, бежал от Онуфрия? – спросил Федьку.

– Кого там бежал?! Он отправил меня с Климкой Ивановым искать припас, оставленный Зиновьевым на Тугирском

волоке. Сказал, без пороха и свинца не возвращаться...

Никифор слушал бойкое лопотание Москвы и переводил удивлённый взгляд с монаха на беглого пашенного.

– Так ты бывал в Даурах? – спросил Ермогена, едва тот отвязался от разговорчивого весельчака.

– Много где бывал и там тоже, – неохотно ответил монах и отвернулся к иконам для молитв.

Сразу после отплытия бунтарей чечуйский приказчик Иван Бурлак послал своего человека на лёгком стружке предупредить служилых и пашенных, живущих ниже Чечуйска, о грабежах и убийстве воеводы Обухова. Его посыльный пошёл протоками и обогнал тихо плывущий дощаник ниже заимки якутского сына боярского Фёдора Пущина.

Самого Пущина дома не было. Беглецы врасплох застали его жену и рабочих людей, ограбили их, без возмещения ущерба забрав платье, зимнюю одежду, ружьё, оловянную и медную посуду, пашенный завод: косы, ральники, серпы и топоры, забрали и хлебные запасы, побили скот. Потом, будто неволей, взяли на дощаник трёх дворовых людей Пущина: Афоньку Прокопьева, Ефремку и Пахомку. Один из них вскоре одумался и сбежал, двое остались на судне. Кондрашка, сидя на палубе, в суете не участвовал, днём и светлыми ночами он шил обувь и ушивал для сыновей суконные штаны, походя прихваченные им при очередном грабеже.

Гружённый мукой, зерном и мясом дощаник с двумя стру-

гами за кормой продолжил неспешный сплав по плёсу Лены со множеством протоков, в которые при недосмотре течение могло увлечь тяжёлое судно. Но этот путь был хорошо известен большинству служилых и пашенных. Иные из них не раз сплавлялись до Якутского острога на стругах, затем поднимались против течения реки бечевой. Заслышав спад и шум воды на очередном перекате, бывальцы призывали спутников, те хватались за шесты, разом человек двадцать с одного борта, выталкивали дощаник на стрежень. Так, почти не останавливаясь, беглецы плыли днями и сумеречными ночами.

Раз и другой во время таких общих дел атаманский сын Федька Черниговский замечал, что лях Гришка Кулаковский за шест не берётся, а что-то весело лопочет его жене. А та, слушая поляка, хохочет.

– Что за дела? – возмутился казак. – Все работают, а ты с ляхом лясы точишь, ещё и лыбишься, как сроднику.

– Не заставляют работать, он и не работает! – удивлённо глядя на мужа, ответила молодуха. – Смешит, вот и смеюсь.

– Понятно, у басурмана совести нет, но ты-то не девка, чтобы тешиться с чужими, гони его! – приказал Федька.

Прогнать смешившего её поляка Евгеница не могла, когда он подступался к ней, старалась делать строгое лицо, но долго не выдерживала, опять срывалась на хохот, зажав ладонями рот, закрытый платком от гнуса. Бросив шест, Федька хватал её за руку, со злым лицом отводил в сторону, но

далеко увести не мог, на дощанике было тесно. Изредка, для того чтобы выпечь хлеб, обычно к ночи, судно подводили к берегу. Бежавшие с жёнами и детьми ночевали на суше, разводили костры и дымокуры, женщины под началом бывшего воеводского повара готовили еду в котлах, мужчины и тунгуска, жена Федьки Евсеева, отмахиваясь от лютого гнуса, который мало прибывала даже утренняя прохлада, ловили рыбу неводными сетями и удочками.

А Никифор Черниговский, втайне стыдясь своего соблазна, с удивлением приглядывался к бойкой мельничихе Анне. Худоватая, по-старушечьи чуть прогнутая в пояснице, с не запоминавшимся лицом и грубоватыми губами, она почему-то начинала волновать его. И чем внимательней Никифор рассматривал замужнюю женщину, тем красивей она ему казалась и будила смутные чувства чего-то давнего, несбывшегося. Может быть, так случилось потому, что Мельничиха часто улыбалась и была весела наперекор своему красавцу-мужу Ивашке Перелешину. После нападения на коч и случайного убийства промышленного Колпакова чечуйский мельник был явно сглажен водяным или лешим – каженником (*сглаженным*). Он был рассеян, хмур и всегда чем-то озабочен, кроме Ермогена ни с кем не вступал в разговоры, работал с несчастным лицом, ночами подолгу молился, а засыпая, часто вскакивал и вскрикивал. Анна суетилась возле него, стараясь отвлечь и развеселить, но ей это не очень-то удавалось.

Жена атамана Никифора, Анфиса, перезревшая в девках в Москве, когда-то бросилась к нему на шею едва ли не с первого его пристального взгляда, лишь бы уйти из дома отчима. Она была хорошей и верной женой, но Никифор никогда не любовался ею, как Мельничихой. «Вот устроюсь и привезу жену на новое место», – думал, открещиваясь от греховного соблазна. Между тем поневоле мостился на ночлеги рядом с семьёй Ивашки Перелешина, помогал его детям, чем мог. Анна наговаривала на воду, присоленную четверговой солью, брызгала мужа, сокрушалась, что среди беглецов нет ни одной старухи-шептуньи, одни только молодые бабы да девки.

После ужина, сумеречной летней ночью, все жались к дымокурам. Возле атаманского костра, отбиваясь от гнуса, люди теснились в несколько рядов. Прошлого, бегущего следом за дощаником, вспоминать никто не хотел, говорили о будущем, а Никифор Черниговский думал и говорил, пожалуй, больше всех: на то он и был атаманом. Накручивая ус на палец, рассуждал:

– Когда возвращались с Амура беглые и государевы люди я их дотошно выпрашивал, будто чувал свою долю, и всё думал, отчего они голодали, если, по их же словам, Дауры – край хлебный? А голодали потому, что брали хлеб на саблю. Даурцы разбегались, и казаки оставались с пустым брюхом. Надо самим хлеб сеять – и будем сыты.

Среди беглецов, жавшихся к дымокуру и слушавших ата-

мана, в большинстве были ссыльные запорожские казаки, добровольно вышедшие на Русь, чтобы служить православному царю, из-за обид пытавшиеся бежать обратно, за что насильно отправлены на пашню московской властью. Все они с тоской вспоминали родные края, добраться до которых по солнцу на закат дня, самовольно пройти все заслоны, города и остроги было делом невозможным. К тому же не всем хотелось возвращаться в Речь Посполиту, сытый, хлебный край своей молодости, где свободны одни только шляхтичи. На правом берегу Днепра простой народ, особенно православный, был накрепко и потомственно закрепощён той самой шляхтой и держался ею наравне со скотом. А потому им ничего не оставалось, как терпеть произвол присланных кичливых сибирских воевод или бежать на восход, строить новую родину. Туда путь был труден, но открыт.

Какой должна быть новая Родина? Об этом спорили подолгу, но миролюбиво. Никифор Черниговский терпеливо выслушивал всех, за что его уважали, неохотно вспоминал о шляхетской республике, которой служил в молодости и свою поездку в Москву с илимской ясачной казной. Он невольно сравнивал нынешнюю Москву с той, которую видел в молодости, больше тридцати лет назад.

– Тридцать лет воюют царь с королём, – говорил, вода по слушателям круглыми от удивления, карими глазами, не понимая, как такое может быть. – Говорят, царь побеждает короля, присоединил к Московии Левобережную Гетманщи-

ну, а ляхов в Москве всё больше и больше, будто это они завоевали Русь. И нынешние бояре, как шляхтичи, бреют бороды, одеваются, как паписты, иные носят накладные волосы, бабы ходят с голой грудью, как панночки. Кто кого победил, ничего не пойму...

– Умнеют дикие москвиты! – срывался на хохот и перебивал атамана Гришка Кулаковский, поляки-выкресты ехидно помалкивали, а единоверцы-католики у своего костра начинали язвительно посмеиваться. – Через войну ваши бояре хоть с виду стали походить на людей. А то балахоны до пят, аршинные шапки, козлиные бороды.

Сосланные на Лену, они не изменяли своей вере, служили здесь, ждали обмена пленными. От своего временного пребывания в Сибири паписты были злы на свою и московскую власти, презирали выкрестившихся в православие поляков, ненавидели здешнюю жизнь и порядки. Но бес попутал связаться с бунтарями, и теперь они были ещё злей от понимания, что после бегства их надежды и ожидания усугубятся новым неизбежным наказанием. У выкрестившихся поляков была своя правда, о которой они помалкивали, держались особняком, своим костром и котлом, то презрительно, то печально посмеиваясь над теми и другими.

Никифор ни с кем не спорил, только бросал на спорщиков осуждающие взгляды, запорожцы же и католики срывались на ругань между собой, но до драк дело не доходило. Атаман терпеливо пережидал словесную перепалку и подводил

к итогу свои прерванные рассуждения:

– Надо жить самим по себе, как душа велит: не грабежами, не ясаком, а трудом.

Теперь запорожцы смеялись над ним, припоминая ленские грабежи. Другие оправдывались, дескать, разбогатеем в Даурах – вернём долги. Разговоры про труд очень не нравились паписту Гришке Кулаковскому. Он язвил, перебивал атамана, запорожцы возмущались его бесчинству, гнали от своего костра. Поляк с руганью отходил к огоньку единоверцев, рассерженно утыкался носом в дым, но за живое задевал: многие запорожцы тоже считали пашню наказанием. На том крепко стоял и атаманский сват Оська Подкаменный. Он желал иметь пропитание со службы, а не с земли, расписывал прелести Запорожской Сечи, если бы там можно было жить с жёнами и детьми. В пример всем ставил воеводу Лариона Толбузина, прошедшего со своими казаками мимо Киренского погоста в Нерчинский острог на смену воеводе Афанасию Пашкову.

Толбузин удивил и обнадёжил многих бывших казаков. Он шёл на службу без семьи и дворовых людей, был просто и удобно по-русски одет, выделялся среди казаков только строгим лицом и бархатной шапкой сына боярского, обшитой соболями. Ночевать в воеводском доме он отказался, спал в шатре на берегу Лены, питался отдельно от казаков, но из их котла. За ним не замечали ни самодурства, ни криков, и казаки его не были заносчивы. С таким воеводой не прочь

были послужить Оська Подкаменный и другие запорожцы.

Атаман Никифор необидно посмеивался над ними. Он знал, что отряд Толбузина оскандалился на устье Олёкмы грабежами торговых и промышленных людей, стоял там лагерем, пока указом якутского воеводы и его посыльным отрядом не был принуждён идти дальше. Впрочем, это было обычным делом, отряды часто посылались на дальние службы, лишь на половину обеспеченные необходимым.

– Мы не отказываемся служить православному государю, – накручивая ус на палец, соглашался с запорожцами атаман, – но своим войском. Поставим острог, а там хочешь – паши, хочешь – промышляй или торгуй. Мельник у нас свой! – кивал на Ивашку Перелешина. Тот вскидывал глаза, стараясь понять, о чём его спрашивают, хмурился и морщился с недовольным видом, показывая, что жернова ему надоели в прежней жизни.

Федька Евсеев редко встревал в такие разговоры у костров, но слушал их внимательно, он соображал медленно, но верно. Вот и на этот раз с горькой усмешкой заявил:

– Куда бы нас судьба ни забросила, одна половина будет хлеб сеять, другая – воевать и грабить. Наверное, на том всегда стоял и будет стоять наш народ.

Кто-то заухмылялся, кто-то недовольно закричал, но возражать ему никто не стал, и спор прекратился.

На захаровской заимке бунтовщики встретили именитого

торгового человека Мишку Стахеева, племянника гостиной сотни купца Василия Федоровича Гусельникова. Непоседливый и хваткий, Стахеев ходил с товарами следом за первопроходцами на Яну, Алазею и Колыму, пересекался там с зятем Никифора, Петрухой Осколковым. Ивану Бурлаку было известно, где он, и его посыльный на лёгком стружке успел предупредить торгового гостя, который хорошо знал, как ведут себя беглецы и бунтари. Стахеев велел своим работным спрятать муку и ценные вещи, но они указали, где скрыта часть добра, и киренские беглецы безвозмездно забрали семьдесят пудов ржаной муки да всяких товаров на десять рублей. Для Мишки Стахеева с его оборотами товаров убытки были копеечными, но он послал жалобу якутскому воеводе о грабеже и предательстве своих работных, хотя те не прельстились Амуром и оправдывались, что сказали о припрятанной муке под пытками.

Кириллка Кобель пахал в основанной им деревне Кобелевой. В хабаровские времена он был десятником в его войске. Уж в нём-то Никифор был уверен и рассчитывал на кобелевское знание Приамурья. Гребцы развернули дошаник против течения, подвели к берегу, причалили в надёжном и безопасном месте. Атаман с берёзовой баклажкой за пазухой пошёл к заимке один для душевного разговора. Бунтовщики развели костры на берегу, сложили каменку для выпечки хлеба, стали варить мясо в большом котле. Беглый воеводский повар ругался с есаулом, не дававшим ему соль.

– Мало её, беречь надо, а ты сыплешь в котёл горстями. На кой? Присолил язык, и ладно.

Станька Каурко готовил к мясу душистую приправу из трав. Не в первый раз собачась с есаулом из-за соли, он разразился бранью:

– Только дикие москвиты лижут соль с пальца. Я от воеводы бежал, чтобы не знаться с вами, хреновыми палечниками. А тут опять.

На Руси было принято печь хлеб, варить уху и мясо пресными, а во время еды присаливать язык или закусывать солёной рыбой. Запорожцы осаливались всяк по-своему, атаман был равнодушен к соли. Если его начинала тяготить преснятина, ел солёную рыбу. Станька же спорил за свои блюда с пеной у рта, ссылаясь, что служил у самого пана Плисецкого и тот его еду хвалил.

– У вас и вкуса к еде нет! Одно только брюхо: или подтянутое к хребту, или набитое до треска.

– Дай, чтобы не орал, – морщась от шума, просил есаула Федька Евсеев. На том спор утих. Что-то бормоча себе под нос, Станька продолжил помешивать и обнюхивать котёл.

Сыновья атамана ждали отца едва ли не до светлой сумеречной полночи, не дождавшись, пошли за ним и встретили его, возвращавшегося с заимки.

– Расказачился Кобель доброй волей! – как-то печально, со вздохами, пролепетал сыновьям слегка хмельной Никифор. – Дом достраивает, жена на сносях, со дня на день ро-

дит... Говорит, хлебнул лиха на Амуре, хочется тишины и покоя, а это бывает только на пашне.

– Хоть бы пищаль и саблю забрать?! – удивлённо глядя на отца, мотнул головой Федька. – Знаю, у него есть.

– Должны быть! – согласился атаман. – В избе не видел. Берёзовый лук и рогатина в красном углу. – Помолчав, добавил: – Не надо грабить. Муки бы ему оставить, а то живут впроголодь тайгой.

Возле устья Витима к самому берегу прижимался бор с высокими строевыми соснами. На воде якутские служилые вязали плоты. Они были предупреждены чечуйским посыльным и равнодушно встретили беглецов, потому что грабить у них было нечего, к тому же они были при государевом деле. Дощаник причалил к берегу неподалёку от лесорубов и плотогонов. Никифор с сыном Федькой, со сватом Оськой и зятем Петрушкой Осколковым сошли на берег безоружными для мирной беседы. Зять быстро пришёл в себя после воеводских колодок, успел уже обзавестись дорогой шапкой и прежним степенством, снова ходил медленно, враскачку, как по палубе плоскодонного коча в море, поглядывал на всех насмешливо и испытующие: на одних презрительно, дескать, что с тебя взять? На других пытливо, предполагая будущие прибыли. Плотогоны с отпугивающими гнус чёрными от дёгтя лицами составили топоры возле балагана, обвешанного луками, сели кружком возле костра и пригласили гостей к своему котлу, желая их послушать. На углях затре-

шала зелёная хвоя, поднялся столб дыма.

– Идем в Дауры, на дальние государевы службы! – начал прельщать плотогонов Никифор, пристально разглядывая перепачканные лица, но никого не узнал.

– Слышали, илимского воеводу утопили! – насмешливо вскинул на него глаза длиннобородый казак с серьгой в ухе, по виду десятник. – Не дело задумали!

– Это почему? – перебив отца, нетерпеливо дёрнулся Федька.

– Воеводу царь не простит, а на Амуре не устоите. – Казак кивком указал на толпившихся на борту дощаника людей. Онуфрий с сотнями не устоял, а вас кого там? Мишка Сорокин уходил с целым полком, уже по пути почти всех перебили. У маньчжуров бой крепкий, бывает, ружья о четырёх стволах, пробойные пушки с ядрами в полпуда... Вас побьют, а ваших баб, – кивнул на дощаник, на стоявших там русских женщин, – отберут. Богдойцы шибко охочи до таких, дуреют, на них гляючи, на сабли лезут. Им всё равно, молодая или старая: жёлтая жена для работ, белая – для блуда.

Плотогоны приглушённо хохотнули, морщась и шмыгая носами от дыма, Федька же взахлёб закашлял, смахивая с глаз выступившие слёзы, затем вскочил с места. В стороне от костра лицо его облепил гнус. Никифор со сватом Оськой из разговора с плотогонами узнали много полезного. Петр Осколков слушал всех внимательно и помалкивал. Он же-

нился в прошлом году, до этого занимался торговлей на Индигирке и Колыме, покупал и продавал соболей сотнями, был схвачен Обуховым в Илимском остроге за пустяшный долг, который мог отдать в течение месяца, как оказалось, сделано это было ради мщения тестю.

Четверо вернулись на дощаник и направили его по полноводному течению реки, сильно расширившейся после слияния с Витимом. Федька с растерянным видом потолкался среди спутников и схватил за рукав Осколкова.

– Не боишься, что жинку отобьют? Всё-таки сестра мне!

– Да брешут они, пугают! – отмахнулся Пётр. – То у нас, на погосте, русских баб не переманивают?! В Енисейском воевода платит блудницам по полторы сотни рублей в год, чтобы ублажали торговых и промышленных людей. У самого жалованье меньше.

Чуть отлегло от сердца Федьки ощущение беды, но заноза осталась, бредила и бредила душу. От устья Витима до самого Пеледуга деревень не было. За дощаником следовали уже три струга. Возле устья Пеледуга незадолго до этого поселился Ивашка Кондратьев, сын пашенного крестьянина с верховий Лены. Он был небеден. Посыльный от Бурлака то ли не добрался сюда, то ли проплыл мимо. Бунтари нагрянули к Ивашке неожиданно, отобрали у него пищаль, два ральника по десять рублей каждый, два топора по рублю, сковороду за рубль, четыре пальмы по рублю, одеяло баранье – четыре рубля, а возместили едва ли половину стоимости ото-

бранного добра.

Неподалёку от устья Олёкмы, на берегу Лены, русло которой в этом месте было шире двух верст, со времён Петра Бекетова стоял небольшой четырёхугольный острожек без башен с тыном в полторы сажени высотой, за ним – казенная изба, два амбара хлебной и ясашной казны. Вход в острог был через ворота в избу, где жили приказчик и служилые люди, собиравшие ясак с таможенными пошлинами. Им вменялось не пускать в Олёкму беглых людей, но после амурских войн многолюдное бегство в Даурию прекратилось. Теперь вверх по Олёкме с отпускными грамотами воевод ходили на промысел соболей только хорошо снаряженные ватаги.

По расположению острожка киренские беглецы могли дожидаться тумана или низкой облачности и войти в Олёкму незамеченными. Но от плотогонов с Витима они знали, что приказчиком здесь служит пленный поляк Фёдор Тышкевич в чине якутского сына боярского. На родине он был ксендзом, а тут, выкрестившись в православие, женился на дочери тобольского стрелецкого головы Якова Шульгина. При приказчике Тышкевиче служили около трёх десятков якутских казаков и гулящих людей.

Зная всё это, Никифор приказал причалить дощаник выше острожка и решил отправиться на струге для разговора с Тышкевичем, прихватив с собой поляков, католиков и выкрестов. Все понимали, что с поляком-приказчиком лучше разговаривать его единокровникам.

– А я кто? Хрен козлий или сын поляка? – обидчиво вскрикнул Гришка Мыльник, которого не позвали даже гребцом. В пути от Киренги он держался рядом с Васькой Бесом и пытался завести дружбу с поляками, что у него не ладилось. На этот раз, рассаживаясь за весла в струг, выкредсты и паписты дружно посмеялись над молодым беглецом, не успевшим выслужить первое жалованье:

– Чей сын, не знаем! – съязвил Кулаковский: – А на птицу похож. Твоей мордой только тунгусов пугать!

– На птицу сойку! – язвительно хохоча, поддержал его Каурко.

Гришка побагровел от обиды, а Васька Бес сначала разразился непотребной бранью, из которой никто ничего не понял, затем выкрикнул Станьке-повару:

– Кто бы смеялся! Твою-то морду от голой задницы не отличишь, если уши обрезать!

Обернувшись на повара, в один голос дружно захохотали поляки и запорожцы. Вислые щёки повара покрылись белыми и красными пятнами, он выпучил глаза и разинул рот, чтобы ответить своей колкостью, но атаман, скрывая усмешку в усах, погрозил Ваське, толкнул струг на глубину и запрыгнул на корму. Приглушённо посмеиваясь, гребцы разобрали вёсла, на том перебранка стихла. Глядя им вслед, простодушный Анисим, средний сын Никифора Черниговского, поскрёб пятернёй бороду и пробасил то, о чём думали братья:

– Не сдадут ли батьку? Люди говорят: один лях иногда бывает хорошим ляхом, а соберутся втроём – и хрен что удумяют.

– Батька тоже вроде как по иноземному списку! – неуверенно возразил Федька, пристально глядя вслед удалявшемуся стружку.

– Мы-то знаем, какой он лях! – осторожно поддержал брата Васька.

На дощанике Никифора Черниговского и на стругах за его кормой было уже около полусотни человек. Три десятка служилых и гулящих, засевших за тыном, могли бы легко отбиться от них... Если бы захотели. На то, по всей видимости, и был расчет Никифора, взявшего с собой не только ссыльных поляков, но и часть общих соболей, отобранных у воеводы. Это понимали все и опасливо помалкивали, ожидая конца задуманного дела. Но атаман с поляками вскоре вернулись живыми и непобитыми.

– Будем брать острог приступом! – весело объявил он. И его люди опять поняли больше того, что было сказано.

Дощаник со стругами подошёл к острожку. Бунтари высадились на берег, навстречу им вышли приказчик с целовальником в сопровождении двух казаков, чтобы посмотреть отпускную грамоту и проверить груз. Беглецы отобрали у них две старенькие пищали-самоковки, отдав за них две пары соболей, затем вытребовали у гарнизона лагун ржаной муки и заплатили за него неслыханную цену в тридцать соболей. Ко

всему приказчик Тышкевич охотно сообщил, что вверх по Олёкме прошли три промысловых ватаги на шести стругах.

К этому времени ночи стали заметно длинней и темней. Утрами по воде часто стелились туманы. Скрытые ими, невидимые из острожка, дощаник беглецов и три струга беспрепятственно вошли в полноводное устье Олёкмы. Сплав был закончен, дальше предстояло тянуть судно против течения реки, которая поворачивала в обратную сторону от Лены. После полудня здесь случился пособный ветер, на дощанике подняли парус, но шли под ним недолго, высматривая удобное место для стоянки, и вскоре остановились. Другой день был днём преподобной Макриды, а следующий – Ильин. И ветер был попутным, с которым можно было уйти далеко вверх по течению, неудобна и даже опасна задержка вблизи ограбленного Олёкминского острожка, но страх сурового Громовика Ильи принудил беглецов остановиться, чтобы в последний раз помыться в речной воде, наловить рыбы и добыть мяса к празднику.

Промышленные и жена-тунгуска Фёдора Евсеева с луками и винтовыми пищалями ушли в тайгу, чтобы добыть зверя. Остальные, высадившись на берег, стали обустройства тabor, неводить рыбу. К радостному ожиданию беглецов, небо затягивали тёмные тучи. Помывшись в отдалении от сторонних глаз, женщины весело месили тесто, мужчины складывали каменки из речного камня и готовили дрова. Беглая жена Настя старалась со всеми поладить и быть полезной, но

спутницы безгласно отгоняли её от себя.

– Что за дела? – возмутился есаул. – Кто из вас без греха? Разве евсеевская дочка? И ту проверить надо, – смутил барышню, едва вошедшую в замужний возраст. А её ровесник Васятка Перелешин, поддерживавший огонь, побагровел от негодования.

– Прелюбодействует с молодым Гришкой! – жена Федьки Черниговского метнула на Настю строгий взгляд.

– А ты, замужняя, с ляхом лясы точишь – ничего?

Евгеница растерялась, разевая рот, как рыба на суше, её сестра и Анна Перелешина добродушно рассмеялись.

– Чтобы больше этого не видел и не слышал! – приказал есаул. – Готовите братское Ильинское застолье – и сеете раздор, – укорил и наставил женщин.

– Да ты посмотри на её руки, – возмутилась Евгеница. – Белые, холеные, как у барыни. Куда ей хлеб печь?

– Научишь! – приказал Мишка. – Нам вместе жить.

Настя с благодарностью взглянула на есаула и придвинулась к женщинам у каменки.

– Почисти рыбу, что ли, – указала ей Евгения на корзину со свежим уловом.

Настя попросила нож и пошла с корзиной к реке. Все мужчины были заняты обустройством табора и ночлега. Есаул подошёл к атаману, резавшему сухую траву, сел на землю лицом к реке.

– До чего же хороша, стерва! – указал глазами на Настю,

чистившую рыбу. Он не скрывал своей присухи. – Говорят, покойный Обухов её насильничал. Как мимо такой пройти – и не прельститься?!

Никифор, не разгибаясь, обернулся к реке, равнодушно взглянул на беглую жену ларешного ключника, потом на есаула, мимоходом обронил:

– Толстая! – И снова принялся резать траву и ветки кустарника.

– Не толстая, а пышная, не то что сухостоина Мельничиха. Говорил ей, иди за меня, что юнец Гришка? Он тебе в сыновья годится. А она: «Жалко его». Ей жалко, а он всё не сторгуется купить бахилы. Баба в одном сарафане от самой Киренги. Говорил, купи ей обувь, сплав кончился, дальше идти берегом по камням. А он: «Ага! Дешевле полтины никто не продаст».

– Долю получил, – согласился атаман. – Скажу, чтобы одел к зиме. Баба – не собака, коли взял – обеспечь или отдай другому. – И бросил на Мишку пыливый взгляд, стараясь понять, почему тот назвал Анну сухостоиной. Может быть, что-то заметил в отношении к ней самого Никифора?

* * *

К этому времени поп Фома, пользуясь безвластьем, сумятицей и неразберихой на Киренском погосте, выгодно скупил остатки соболей у промышленных, снаряжавшихся в

тайгу. Подписывать светские жалобы на убитого воеводу он не стал, на вопросы и расспросы прихожан смиренно закатывал глаза, дескать, на всё воля Божья. Между тем до Ильина дня он отправился в Илимский острог со своей жалобой на Обухова, что тот не по праву передал Троицкому монастырю Богородичную церковь, хотя это было только словесное обещание воеводы. Под видом жалобы Фома предполагал выгодно сбыть на Илимке скупленных соболей.

В это же время, получив известие от чечуйского посыльного об убийстве воеводы Обухова и бегстве киренского приказчика, Ерофей Хабаров как пашенный приказчик взбунтовавшейся волости убедил якутского воеводу-стольника Кутузова-Голенищева отпустить его на Киренгу, оставшуюся без власти и правления. Воевода отпустил его под клятвенные обещания вернуться до ледостава и под свою ответственность поручился за его долги казне.

* * *

До предпраздничного вечера беглецы могли бы при попутном ветре, не выматываясь на бурлацкой бечеве, подняться по Олёкме верст на тридцать, а то и дальше, но в преддверии Ильина дня и думать об этом не хотели. Неслись по небу тучи, то скрывая, то открывая солнце. Попискивали комары, роилась мошка, день был тёплый, а гнус не такой навязчивый, как на Лене, да и время его выходило:

Ильин день – конец лету. Настороженная суета попутчиков опечалила Ермогена, но, по его мнению, бессмысленно было вразумлять попутчиков, противиться их страху и желанию умилоствить святого Илью соборными застольями, песнями, плясками. Он заметил, что Ивашка Перелешин-Мельник, оказавшийся рядом, удивлённо и сочувствующе смотрит на него. Ермоген понял, что выдал свою печаль, и кивнул со вздохом:

– Хорошо в скиту, среди своих! – Ему не важно было, как понял его Мельник. Но, судя по лицу, он понял больше сказанного, тоже вздохнул и перекрестился.

С умученным видом к ним подошёл Софон Емельянов. В пути по Лене старик старался держаться рядом с монахом, хотя Ермоген не жаловал вниманием беглого монастырского вкладчика.

– Будут петь и плясать, как дикие, – просипел, показывая, что он не такой, как все другие, и поддерживает обособившихся монаха с Ивашкой. Под пристальным взглядом Ермогена Софон смутился, потупился. Пробормотал: – И я, грешный, был не лучше.

С угрюмым лицом, сутулый, иссохший телом, как пугало, болтая руками в сношенной рубахе, Софон посильно исполнял общие работы, ни с кем близко не сходил, ночлеги на суше устраивал в стороне от табора. Он участвовал в общих молитвах, но никто не видел, чтобы молился в одиночку. На вопросы, зачем бежал из монастыря, обычно не

отвечал, только пристально смотрел на любопытного из-под лохматых бровей глубоко запавшими льдинками глаз. Пользы от старика было мало, но он и не вис на других бесполезным грузом. Мишку Сапожника его молчание сердило, ес-ул в насмешку напирал на него со строгим лицом:

– Где гроб спрятал? Без него на дощанике тесно.

– В монастыре бросил, – вынужденно отвечал Софон и жалобно оправдывался: – Измучился там без сна. В пути хоть отоспался всласть.

– И что? Здесь гнуса меньше?

– Гнус не мешает, даже баюкает.

Вечером Ермоген, Мельник и Софон молились на дощанике. Все другие беглецы весело разделявали добытого лося. Работой верховодил Кондрашка Суханов. С руками по запястье в крови, он весело снимал шкуру, расчленял тушу и вытягивал из неё жилы. Женщины с поляком-поваром варили уху, пекли мясо, запах которого был Ермогену неприятен.

Почти всю ночь беглецы отбивали поклоны у своих костров, чтобы умиловить грозного святого. Ермоген, Ивашка Мельник с женой и детьми молились всю ночь по-писаному да по наученному. Софон, завернувшись в шубейку, крепко спал в отдалении от табора. Поляки-католики по-своему молились у особого костра. Поляки-выкресты оставались сами по себе в стороне от всех.

На другой день, в преддверии праздника, пасмурное утро обнадёжило ильинским дождём. Монах читал молебен и ака-

фист на берегу реки. Беглецы страстно молились, низко кланяясь розовевшему сквозь облака восходу, просили Ермогена освятить воду и устроили подобие крестного хода. Едва монах опустил крест в Олёкму, все мужчины и женщины с воплями и визгом, в одежде, в которой были, бросились в реку. Затем, весёлые и радостные, стали сушиться у костров.

При общем веселье Мельник обернулся к Ермогену, снисходительно взиравшему на общее веселье, сам он в воду не бросился, только склонился с берега, чтобы поплескаться в лицо. Анна в сарафане и рубахе, облепивших тело, вышла из воды вместе с детьми, и все трое, хохоча, столкнули Ивашку в реку. Он вынужден был окунуться и с улыбкой выбрался на сушу. Мокрый атаман Никифор обернулся к ним и залюбовался красивой семьёй. Софон, съевшись, равнодушно смотрел на всех со стороны, в воду не лез. Поляки, католики и выкресты, сидели у своих тлевших костров, показывая, что не желают участвовать в русской дикости.

Вскоре блеснуло и скрылось в облаках солнце, закапал ильинский дождь. У ленских беглецов это вызвало новую бурю радости. Мужчины и женщины в непросохшей ещё одежде топтались по земле, расставляли руки, распахивая небу объятия, ловили капли ртом, растирали их по телу, ожидая от грозного святого исцеления от недугов и укрепления здоровья.

Но не случилось ни грозы, ни ливня. До полудня, то утихая и пропадая, то усиливаясь, моросил тёплый дождь. Солн-

це то насмешливо выглядывало, то пропадало среди туч.

Мокрые и радостные беглецы пели, плясали у костров и объедались, желая тем самым умилоствить грозного Старца, которым представляли святого Илью. Терпеливо глядя на них, умылся дождевой водой и похлебал ухи Ермоген, затем вместе с Ивашкой Мельником уединился для других молитв.

Кондрашка Суханов с сыновьями днём пел и плясал вместе со всеми, а за полночь, посчитав, что праздник уже закончился и работать уже не грех, мездрил летнюю лосиную шкуру, дубил её на дыму костра, прикидывая, как лучше раскроить на ичиги.

К счастью беглецов, на другой день опять задул ветер с Лены, они подняли парус на дощанике. Небесная сила повлекла судно с людьми против течения реки. Струги выгребали за ним вёслами и проталкивались шестами вблизи берега. Вспоминая праздник и нынешнее утро, беглецы рассуждали между собой, что все приметы к добру. Течение реки было здесь слабым. Её поворот оказался излучиной, и вскоре русло повернуло в обратную сторону. Выше впадения в Олёмку Чары, её левобережного полноводного притока, река стала заметно уже и мельче, но всё так же неспешно текла между пологих гор. И гнус здесь не донимал, как на Лене. Но ветер уже не был попутным. Пришлось беглецам высадиться на берег, разобрать бечевы и тянуть судно своей силой.

Тихим и тёплым августовским вечером, после благодарственных молитв за прожитый день, беглецы устроили ноч-

лег на берегу, у кромки соснового бора с густым подлеском из кустарника и трав. На рассвете они поднялись, развели костры, после благодарственных молитв за спокойную ночь подкрепились едой и питьём, разобрали бечёвы и потянули суда дальше. На борту дощаника остались пятеро мужчин с шестами и чёрный поп Ермоген для молитв, остальные шли в бечеве. Под ногами бурлаков была прорубленная и проторённая сотнями ног тропа, чистая и найденная. После недолгого молчания и кряхтения кто-нибудь начинал распев очередной молитвы, другие подхватывали её вполголоса, ощущая вокруг себя защиту высших сил. И только поляки угрюмо и молча тянули постромки, смахивая пот с лиц, отмахиваясь от комаров и осенних клещевых мушек.

Женщины и дети шли пешком следом за судном. Мельник с Мельничихой и Федька Москва тянули свои сцепленные струги сами. Мельничонок Васятка с сестрой, напрягаясь, отталкивали их шестами от берега и мелей. Мельничиха бросала на мужа сочувствующие взгляды, пыталась ободрить его, но тот шёл с отрешённым лицом, мысленно вспоминая и вспоминая подробности нечаянного убийства. Никифор, стоявший на шесте дощаника, то и дело оборачивался в их сторону, любовался Анной и удивлялся, отчего прежде она казалась ему некрасивой. Его жена Аноска делила с ним все невзгоды и трудности сибирской жизни, но всегда с покорным, страдальческим, умученным лицом. Рыжий Федька Москва то подпевал вместе со всеми, то о чём-

нибудь лопотал, всем телом налегая на бечеву, своей болтовнёй он сбивал Ивашку Мельника с его печальных мыслей.

– Купаниям и мытью конец! – одышливо бормотал на ходу. – Люди говорят, как Илья в воду поссыт – не лезь. И судороги могут быть, и всякие водяные гады плавают уже без страха. А как не лезть? Здесь ещё цветочки. И по пояс и по грудь ещё будем окуняться.

Тысячами ног по берегам Олёкмы был найден тракт с полуразрушенными зимовьями, балаганами, со сложенными очагами и каменками для выпечки хлеба. После слухов о промыслах удачливой ватаги Пантелея Пенды и открытом ей пути к сибирской реке Элеоноуне в разное время на Лену выбирались и расходились по её притокам сотни промышленных и торговых людей. На одном месте соболя быстро выбивали, шли дальше, разыскивая места богатые непуганым зверем, строили охотничьи зимовья, добычливые ухажья держали в тайне от всех, идущих следом. За редким исключением ватаги мирно уживались с таёжными кочевниками, приторговывая железом и даже оружием, что было строго запрещено властью. Её-то, алчную до прибыли, промышленные и торговые люди опасались больше всего, но вынуждены были выходить к острогам за хлебом и охотничьим припасом.

Иногда над огоньком в пыточных избах удачливые добытчики сообщали казакам и воеводам о местах, где бывали, где промышляли, что видели, при этом, случалось, придумыва-

ли такие сказки, которые потрясли не только служилых, но, дополненные домыслами, расходились по всей Сибири и Руси. Одну из таких сказок вынес промышленный человек, побывавший в плену у дауров. Он рассказал о князцах-богачах Лавкае и Батоге, оседло живущих на большой реке со своими подданными. В его рассказах были смешаны ходившие среди тунгусов и даурцев слухи и домыслы об Индии и Китае. Эти сказки о близкой богатой стране потрясли первого ленского воеводу Головина, Сибирский приказ и самого царя Алексея Михайловича.

В испытанные и указанные промышленными людьми места якутский воевода отправил военно-промышленную экспедицию под началом опального письменного головы Еналия Бахтеярова. Отряд пошёл вверх по Витиму и вернулся ни с чем, потратив на поход немалые средства. Едва начался царский сыск по преступлениям самого воеводы Головина, его приближённый письменный голова Василий Поярков поспешил уйти подальше от Лены и возглавил вторую экспедицию, целью которой было завоевать страну князцов Лавкая и Батогы, объяснить и подвести их под вечное подданство русского царя.

Отряд Пояркова вышел через Алдан на реку Зею, встретил там оседлый народ монгольского происхождения, получил от него жёсткий отпор, построил кочи, первым сплавился до Амура и в его низовья. Там казаки нарастили борта кочей, морем выбрались к устью Ульи и москвитинским пу-

тём вернулись в Якутский острог ни с чем, потеряв половину своих людей. Воевода Головин, письменные головы Бахтеяров и Поярков были отозваны в Москву на царский суд, но слухи о Даурии продолжали волновать казаков, воевод и самого царя.

Между тем промышленные ватаги, возвращавшиеся Олёкмой, продолжали приносить казне большие прибыли. На реке Шилке их пути сомкнулись с путями ватаг, идущих с Байкала. Таможенников и целовальников уже не удивляла добыча соболей по сотне, а то и по полторы на каждого человека. Но оседлая Даурия, страна Лавкая и Батогои, всё ещё оставалась манящей загадкой.

В 1649 году слухами о ней воспользовался торговый, промышленный и пашенный предприниматель Ерофей Хабаров. Воевода Головин держал его в тюрьме. Он освободился с приходом нового воеводы Василия Пушкина и с прежним пылом взялся разом за множество прибыльных дел, но вскоре разгневал Пушкина противозаконным винокурением и был вызван из Илимского острога в Якутский на воеводский суд.

Но на смену Пушкину уже шёл крещёный воевода-немец Фаренцбах-Фаренцбеков. Хабаров встретился с ним в Илимском остроге, сумел прельстить его походом на даурских княцов Лавкая с Батогой своим подъёмом, то есть за свой счёт. Экспедиция предполагала немалые барыши государю, предпринимателю и новому воеводе. Хабаров получил от

него согласие и наказную память, дававшую возможность выйти из-под власти Василия Пушкина и увернуться от его суда. Затем между Хабаровым и Фаренцбековым начались обоюдные хитрости: предприниматель вымогал с воеводы средства на поход, который обещал снарядить сам, воевода вымогал с предпринимателя долговые кабальные грамоты, значительно превышавшие эти средства.

С воеводской наказной памятью, в статусе государева человека, с числившимися на его подъёме семьюдесятью, на самом деле четырьмя десятками служилых, пашенных и промышленных людей Хабаров поплыл по Лене, едва она очистилась ото льда и вошла в свои берега. По пути он изымал у пашенных и торговых людей муку и оружие. Плывущий в Якутский острог новый воевода за новые кабальные грамоты охотно помогал ему в этом, сберегая казённый государев припас.

На Олёкме Хабаров продолжал грабить промышленных. На Тугире его люди обобрали зимовьё промышленного Ивана Квашнина, в зимовье у Андрея Ворыпаева жили три недели, проели его припас, а остатки забрали. В это время посылные гонцы от Ленских пашенных, торговых и промышленных людей уже везли жалобы на Хабарова и Фаренцбекова илимскому и енисейскому воеводам. Те вскоре переправили их в Москву.

Ерофей Хабаров с отрядом добрался до Лавкаева городка, оставленного жителями. Никаких следов богатств, украшен-

ных золотом дворцов, при нём не оказалось, стены и башни были из жердей, обмазанных глиной, их насквозь прошивали ружейные выстрелы. По слухам, от промышленных людей и тунгусов о приближавшемся русском отряде даурского князья Лавкая предупредил промышленный Сенька Косой и получил от него награду. Оставив отряд, Хабаров поспешил в Якутский острог, к воеводе и своему благодетелю Фаренцбекову, придумывая сказку о богатой стране, где рождаются серебро и золото, о богатых городах Амура, где простые люди едят с золотой и серебряной посуды, ходят по половикам из соболей. А для завоевания этой страны нужно всего-то тысяч семь войска.

Воевода-немец, слегка приукрасив сказку Хабарова, записал её и отправил царю, озадачив не только Сибирский приказ, но и самого государя, поскольку на Фаренцбекова и Хабарова уже было получено столько жалобных челобитных, что впору начинать сыск по их преступлениям. В Москве стали готовить экспедицию для завоевания Даурии и для следствия по бесчинствам Хабарова. Законы, традиции и цели Чингисхана на византийской позолоте возвращались из Москвы к монгольским народам. Полторы сотни стрельцов под началом дворянина Дмитрия Зиновьева отправились в сказочную страну на реке Амур.

Хабаров в тот же год вернулся на Амур прежним путём, Олёкмой и Тугирем, с новыми людьми, поверившими его сказкам, с новыми займами от воеводы. Опасаясь его грабе-

жей, промысловые ватаги с проторённого Олёкминского пути разошлись по другим притокам и перевалили через Становой хребет на Шилку. Андрей Ворыпаев продолжал жить в своем обобранном зимовье, и, скорей всего, снова был пограблен.

Уже через год, подновляя зимовья и балаганы, расчищая завалы, по нахоженному бечевнику Олёкмы шёл отряд московского дворянина Дмитрия Зиновьева. Затем он возвращался тем же путём с арестованным для царского суда Ерофеем Хабаровым. По пути в Москву Хабаров своими рассказами об Амуре так смутил всю Сибирь, что одна за другой в Дауры побежали самовольные казачьи отряды и даже полк казака Мишки Сорокина из четырёх сотен человек. Из-за беглецов пустыли остроги. Чтобы задерживать их на устье Олёкмы и возвращать туда, был отправлен казачий отряд пятидесятника Анциферова, но и он ушёл на Амур, где хабаровским войском командовал Онуфрий Степанов по прозвищу Кузнец. После его разгрома и гибели остатки степановского войска возвращались тем же путём.

Промыслы соболя уже резко снизились, редкие ватаги добирали его остатки по верховьям Олёкминских притоков. Бедствовали, входя в немилость власти, таможенные головы Олёкминского острожка: с них требовали прежних сборов десятинных мехов, а их не было. Но путь в верховья оставался проторённым и обустроенным. По нему и двинулись новые беглецы атамана Никифора Черниговского.

После Ильина дня, около полудня, снова задул попутный ветер, на дощанике подняли парус, бурлаки с бечевами через плечо веселей и быстрее зашагали впереди судна. Атаманский сын Федька Черниговский, тянувший дощаник плечом к плечу с братьями, обернулся и заметил, что бечева Гришки Кулаковского волочится по земле, а он идёт среди женщин и что-то лопочет Евгенице. Она же, укрытая платком от гнуса так, что оставались видны только глаза, отворачивалась, показывала нежелание говорить и слушать, но поляк назойливо наседавал и чуть ли не обнимал её. Федька бросил свою бечеву, подбежал к Гришке и с маху хлестнул его по уху. Тот дал ему отпор. Побросали бечевы и кинулись на помощь земляку поляки, католики и православные. К Федьке подбежали братья Анисим с Васькой, началась драка, завизжала Федькина жена. Никифор, с борта дощаника выбралил сыновей и велел Гришке взять бечеву. Федька, стирая кровь с разбитой губы, впрягся в своё ярмо. Дощаник продолжал неспешно двигаться против течения реки.

К молчаливому возмущению Гришки Аксамитова, возле Насти, беглой жены воеводского ключника, тоже часто оказывались то есаул Мишка Сапожник, то ещё кто-нибудь. Похоже, и по нужде она не могла остаться наедине. Вечерами, на отдыхе, к ней приставал говорливый Москва, откровенно переманивая к себе и ни во что не ставил её молодого любовного молодца. Настя весело принимала посулы от

всех и даже соглашалась, что со зрелым мужчиной при его покровительстве ей было бы легче жить, но Гришку не бросала, заботилась о нём, как о сыне, наделяла скупыми ласками и сухановских двойняшек, отчего вольный Кондрашка тоже обнадёживался её любовью. Ергоген терпеливо наблюдал весь этот блуд, сторонился разговоров о житейском и греховном, молчал и беспрестанно молился. Когда его спрашивали о дальнейшем пути, он сухо и строго говорил, какие трудности впереди.

При пособном ветре среди дня беглецы успевали удить рыбу и стрелять уток, иногда удавалось добыть мясистых, жирных глухарей. Хариус хватал муху на крючке, едва она касалась речной глади, и чуть ли не самовольно лез в котёл. Река была черна от уток, сбивавшихся в стаи. Женщины на ходу потрошили пойманную рыбу и подбитую птицу. Все радовались обилию подсобных кормов, только Ергоген равнодушно и строго оглядывал бредущих людей, а Федька Москва зловредно посмеивался и предрекал скорые трудности и приближавшийся Успенский пост.

Перед Первым Спасом беглецы остановились на обустроенном таборе с двумя просторными балаганами, с каменкой для выпечки хлеба. Дощаник был причален в безопасном месте, струги вытянуты на берег. Мужчины, подновив балаганы, стали готовить дрова и постилки для ночлега, женщины разошлись по округе собрать грибов и ягод, Станька Каурко пёк хлеб и пресные лепёшки. В ночь, едва ли не до рас-

света, все страстно молились по балаганам и у костров. Едва блеснул из-за горы первый солнечный луч – собрались у реки. Ермоген почитал молитвы, опустил в воду наперстный крест, началось скромное пиршество варёными грибами, хлебом и ягодами, было положено начало Успенскому посту.

Евсеевиха день и другой вместе со всеми повоздерживалась от рыбы и мяса при небольшой пайке хлеба, затем стала уходить на ночь вглубь леса, там пекла рыбу и птиц. Самые упрямые держались на постном подножном корме с неделю, затем, ссылаясь на походные условия, стали есть рыбу, по нужде сквернить живот скоромной пищей. Поста истинного придерживались только Ермоген да Ивашка Перелешин. Бывший мельник пытался отдавать свою пайку хлеба жене и детям. Анна сердилась, бросалась с жалобами к Ермогену. Никто не знал, о чём монах поговорил с Ивашкой, но тот после тяжёлых переходов в бечеве с унылым видом стал есть вечерами печёную рыбу.

Горы становились выше и скалистей, раз и другой бечёвник упирался в отвесный скальный прижим. Беглецам приходилось переправляться на другой берег. Течение сносило суда в обратную сторону, что очень печалило бурлаков. Всё чаще песчаный и дернистый берег обнажался крупным галечником, а то и обкатанным рекой булыжником, о который сбивали ноги. Течение Олёкмы убыстрялось, встречались перекаты с высокой волной, протаскивать через них тя-

жёлтый дощаник было трудно. Менялось настроение людей, зачастую целыми днями бредущих в мокрых штанах, на их лицах оставалось всё меньше прежнего удальства и задора, а зловерный Федька Москва ещё язвил и зубоскалил, дескать, это только цветочки, ягодки впереди, но при этом весело запевал: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу...»

– «И ныне и присно и во веки веков. Аминь», – сдержанным хором поддерживали его бредущие берегом, измотанные люди, и прибывало у них сил и надежд.

С каждым днём путь становился трудней. Особенно страдали женщины. Молодые жёны Федьки Черниговского и Петра Осколкова уже не скрывали слёз, женщины старше и беглая жена Настя терпели тяготы пути с умученными лицами. Анна Перелешина, по-прежнему удивляя тайком наблюдавшего за ней атамана, пусть вымученно, но улыбалась. И только эвенкийка Евсеевиха, окончательно сбросив поневу, казалось, радостно жила своей природной жизнью и учила этому младшую дочь. Но та не имела страсти к охоте и на ночь заползала под одеяло к отцу.

Беглецы часто стирали одежду, каждую неделю устраивали походные бани с поздними, быстро теряющими лист, берёзовыми вениками. Хлестались ими возле раскалённых кострами камней. Банные дни да праздники были единственной радостью усталых людей, терявших прежние представления о воле. Атаман тяжело переживал за близких и подначальных людей, прислушивался, как всё отчаянней чертыха-

ются бурлаки в бечевах, ощущал, как меняются их настроение и вера в будущую вольную жизнь. Высокий, жилистый, молчаливый, Ермоген шёл наравне со всеми, то в бечеве, то на шесте, ветер трепал его длинные волосы с густой проседью и белую бороду. В делах дня он ни с кем не разговаривал, отстранённо шевелил губами в мысленном моленье, лишь по утрам и вечерам призывал спутников на молитвы. Никифор, с удивлением приглядываясь к монаху, не удерживался от расспросов:

– Отчего все устают, хотя едят скоромное, а ты нет? – спрашивал, если случалась такая возможность, при этом пытливо вглядывался в большие глаза чёрного попа. – Может, заговор какой знаешь?

– Всю жизнь спасаюсь молитвой и постом! – шурясь в усмешке, отвечал Ермоген. – Скоро будет природная горячая вода. Отмоетесь, наберётесь новых сил.

В дни поста монах не ел даже рыбы, питаясь травами, грибами, корешками, любил сухарики, которые сушил возле костра на прогретых камнях. Он никого не бранил, не укорял, когда в постные дни уже открыто пекли добытую птицу, соглашался, что на походе не всегда удаётся поститься, при этом старался уединиться, чтобы не чувствовать скоромных запахов. На удивление молодых, ему хватало сил идти с ними на равных, а по ночам ещё и молиться.

Не показывал уныния и Кондрашка Суханов, хотя, бывало, от усталости валялся с ног и сипло дышал, уткнувшись

носом в землю. На отдыхе и ночлегах он как-то умудрился сшить сыновьям и себе ичиги, потом и душегрейки. Прибежал вечером к атаману с радостным лицом:

– Дай саблю! А лучше бердыш.

– Зачем тебе? – удивился Никифор. – С чего бы казаку давать саблю мирскому человеку?

– У самого берега осётр кормится, сажени полторы, а то и больше, – с заговорщицким восторгом развёл руки Кондрашка.

– Ну, пойдём посмотрим, – недоверчиво поднялся от костра Никифор.

При закатном солнце Кондрашка провёл его от табора по каменистому берегу шагов на сто, дальше была песчаная отмель. На ней действительно кормился и шевелил зазубринами спины осётр, да не в сажень длиной, а в две. Такого и неводной сетью на берег не вытянуть.

– Ты в поршнях не подойдёшь, – прошептал Кондрашка, – дай саблю, я подкрадусь босиком?!

Осетров ловили и на Лене, но таких огромных добывали редко. Атаман, не отрывая глаз, тихо вынул из ножен саблю и подал Кондрашке. Тот попробовал пальцами заточку, осторожно ступая, приблизился к осетру, ловким ударом с приседанием наполовину отсек ему голову. Рыбина резко дёрнула хвостом и замерла, как топляк. Вдвоём беглецы накинули на жабры бечеву и стали спускать добычу к табору. Мелкий улов, из которого готовили ужин, выпекая на углях, был за-

быт. Беглецы под началом Кондрашки вскрыли брюхо осетра, вынули пуда четыре икры, стали печь икряницу, варить жирную уху на кострах.

Добыть рыбу и зверя было не трудно. По берегам паслись и близко подпускали стрелков изюбри и лоси. Медведи часто подходили к табору, но не нападали. Мошки и комаров было заметно меньше, чем на Лене после Ильина дня. «Останавливайся и живи! – Иной раз кто-нибудь из бурлаков с тоской оглядывал окрестности. – Здесь и рожь вызрела бы не хуже, чем на ленских пашнях, если бы, конечно, не густой лес, горы да скалы». Сосен по берегам становилось всё меньше, больше росли лиственницы вперемежку с берёзами, а река Олёкма текла всё быстрее и беспокойней.

Перед Преображеньем Господним беглецы остановились пораньше возле старого стана с балаганами и кострищами, в которых выстывала свежая зола идущих впереди ватаг. Мужчины растопили каменку, Каурко, закатав рукава рубахи, с радостным лицом месил муку на пресные лепёшки. Женщины и дети собирали грибы, копали съедобные корни поблизости от табора. Православные люди в день Преображенья готовились поститься постом истинным. Выкресты печалились предстоящей голодовке, паписты-католики посмеивались над ними, Евсеевиха хоть и носила крест на шее, не понимала, почему голодные люди Богу милей сытых, ворчала и сердилась по пустякам. Федька, отмахиваясь от вредной жены, отпустил её в тайгу.

Сафонка вместе со всеми с удовольствием поужинал свежими лепёшками, разминая их беззубыми дёснами, запивая смородиновым отваром, покрестился, благодаря Господа за еду, но на общее моление не остался. При розовом закате дня с длинными тенями деревьев по воде он взял свою шубу и стал моститься на ночлег в стороне под деревом. Католики легли в балагане, выкресты помолились вместе со всеми час-другой, быстро устали и тоже легли спать пораньше. Православные же, погадав на погоду, на будущее благополучие и урожай, страстно молились едва ли не до рассвета, выпрашивая у Господа преображенья своих грешных жизней. Едва зарозовело небо на востоке, они с нетерпеливым любопытством разглядывали восход солнца, радостно умывались выстывающей водой с редкими ещё плывущими по ней жёлтыми листьями. Ергоген читал тропарь, они снова молились, после полудня пели и плясали на берегу. Монах снисходительно смотрел на их веселье. Рядом с ним стоял Ивашка Перелешин с несчастным лицом, опущенными красивыми, пышными волосами и такой же бородой.

Всё ещё заспанный, с мятым, морщинистым лицом, кутаясь в шубу, к ним подошёл Сафонка и проворчал:

– И чего скажут да орут? Отдыхали бы после молитв. Днёвка она и есть днёвка.

– Показывают Господу, что рады и счастливы, – ответил ему Ивашка и вопрошающе взглянул на Ергогена: не сказал ли глупость?

На следующее утро, крестясь и каясь, православные под насмешки папистов позавтракали печёной рыбой, и поход продолжился.

На Успенье Богородицы беглецы опять устроили днёвку, молились, колотили дозревший кедровый орех. На Ореховый Спас вместо великого гулянья проходили порог, растянувшийся на несколько дней пути. Шум воды был слышен издалека. Река бесилась беспорядочными волнами, каждая верста давалась большими трудами. Особенно тяжело было протягивать дощаник. Волны захлёстывали струги, но вести их было легче. Протянув лёгкие суда до безопасных мест, где можно было приткнуться к берегу, чавкая чирками и бахилами, бурлаки возвращались к дощанику и все вместе тянули его, мокрые уже по самую грудь. Остановиться было негде.

Уже после заката солнца на измученных беглецов пахло сладостным запахом дыма, а в сумерках завиднелись светлячки костров. Бурлаки сообща решили дотянуть дощаник до чужого табора, чтобы обсушиться перед тем, как встать на ночлег. Костров было около десятка, на берегу лежали вытянутые длинные и узкие струги. Лениво залаяли промысловые собаки. Это были те самые артели, Луки Новосёлова, Семейки Татарина и Никифора Бобровского, о которых предупреждал служилый поляк Тышкевич. После трудного перехода через порог они расположились в одном месте.

Киренские беглецы приткнули дощаник к берегу, закрепили его и бросились к кострам сушиться. Евсеевиха упа-

ла на колени, стала обнимать, окруживших её собак, и они ластились к ней, почуяв охотника. Возле огня сидели покрученники, нанятые передовщиками артелей на промысел. Они гостеприимно уступили промокшим, измученным людям лучшие места у огня, с любопытством расспрашивали, кто они такие, откуда и куда идут. Узнав, настороженно затихли.

Обсушившись, беглецы Никифора Черниговского стали устраивать свой стан, готовиться к ночлегу. Женщины под началом бывшего воеводского повара Станьки Каурко варили кашу и пекли лепёшки, мужчины из последних сил секли кустарник и резали траву. Между тем табору промышленных артелей было не до сна, киренчане своими рассказами разбудили у них непомерные страсти. В большинстве своём покрученники шли на промысел неволей. Хозяева артелей выкупили кабальные грамоты этих людей за прошлые долги и вынудили почти даром идти на дальние двух-, а то и трехлетние промыслы.

К утру покрученники взбунтовались, побили передовщиков, отобрали у них, изодрали в клочья кабальные и договорные грамоты, по которым обязывались отрабатывать долги, притом, как водится, объявили себя владельцами съестного и промыслового припаса. Ограбленные хозяева артелей грозили расправой. Лука Новосёлов взывал к совести. Он с отцом вложил в эти промыслы полторы тысячи рублей и сам был кавальным должником. Утром, с угрозами и проклятьями

ми, передовщики сели в струг и отправились в обратную сторону, в Якутский острог.

– Вот ведь жизнь и воля у промышленных! – усмехнулся Мишка Сапожник, глядя на утихавший скандал. – Кабальный кабального кабалит, хочет на том нажиться и разбогатеть.

– А у служилых лучше? – с горечью спросил его Никифор. Взбунтовавшиеся промышленные и покрученники обступили атамана с есаулом, стали подробно переспрашивать, куда они собираются идти и как жить. Единого мнения об этом не было и у беглых киренчан. На предложение атамана идти с ними на Амур большинство покрученников с радостью согласились и потянули свои струги следом за дощаником. Под илимским стягом объединилось больше ста человек, но длилось это недолго. Уже на следующей неделе от беглецов обособились своеуженники – промышленные люди, снарядившиеся на промыслы за свой счёт. Вскоре началась шаткость среди покрученников. Несколько человек решили вернуться в Якутский острог в надежде на прощение и справедливость. С ними тайком уплыли поляки Абрамовский и Сташевский, один католик, другой выкрест.

Все поляки терпеливо переносили трудности пути, будучи себе на уме. Вечерами собирались у одного костра, бжекали, часто ругались, но только между собой. Возмущался и часто буянил один только Гришка Кулаковский, ему иногда поддакивал Ивашка Сташевский. Утром Кулаковский и Каурко

были удивлены, что два земляка тайком их бросили. Гришка плюнул им вслед, вернулся на табор злой, рассерженно спросил повара:

– Ты-то зачем остался? Пару раз накормил бы якутского воеводу своими изысканными кушаньями, он бы тебя оправдал.

– Ага, оправдал?! – чертыхнулся Станька – То я не служил воеводам, не знаю их ласку! Как-то подогрел Обухову настойку, он поперхнулся и вылил её на меня. Дикарь!

– Обухов из холопов, а Якутским правит князь. Русские пановья – такие же обжоры, как и наши, Кутузов не стал бы плескать в тебя вином.

– Не стал бы! – Скривил пухлые, обветренные губы повар. – Приказал бы холопам, чтобы выпороли.

Кулаковский громко расхохотался, соглашаясь с земляком, и, повеселев, ещё раз плюнул вслед сбежавшим полякам.

Атаман с есаулом силой никого не удерживали. Но Никифор с печалью высматривал насупленные лица своих старших сыновей и угрюмое – младшего, Васьки. Краем уха он ловил их разговоры и рассуждения о том, что в прошлом стрелецкий сотник Якунька Анциферов с отрядом был послан, чтобы вернуть беглецов, самовольно уходивших под знамя Онуфрия Степанова, но сам ушёл за ними – и ничего... Прощён, служит в прежнем чине.

По Олёнке уже густо плыл жёлтый лист, по берегам

пламенели осины с берёзами, всё прохладней становились утренники. На Семёнов день, первого сентября-зоревика, наступил новый, 1666 год от Рождества Христова, которого так боялись на Руси. Устроить праздник в походе не удалось. Подкрепившись едой и питьём, почитав благодарственные молитвы на ночь, беглецы расположились на ночлег под открытым небом. Никифор лёг поблизости от дочери и зятя, Петрухи Осколкова. Эти двое: матёрый муж и юная женщина, были веселей атаманских сыновей и их жен, поглядывавших на свёкра с укором и обидой. Атаман проснулся в ночи под ясными звёздами, при бликах догоравших костров и услышал шёпот дочери.

– Ты же обещал мне, когда звал замуж, что нужды знать не буду. А теперь что? Ну, придём в Дауры, может быть, прокормимся с пашни и промыслов. И это всё? На всю жизнь?

– Я умный, – нехотя, с зевотой и кряхтением отвечал Пётр. – Я и там сумею разбогатеть.

– А почему бы не вернуться, как другие? – хлюпая носом, слезливо шептала атаманская дочь. – Ты никого не убивал. Плыл на воеводском дощанике поневоле. Какой с нас спрос?

– На дыбе да с огоньком под брюхом придётся признаться, что это ради моего освобождения тесть устроил грабежи и убийства. Нет! – решительно отрезал. – Нам возвращаться нельзя.

Женщина тихо заплакала, давась слезами. Никифор не подал виду, что услышал разговор супругов, глядя в звёздное

небо, с покаянной тоской подумал о том, что сам всю жизнь искал выгод и передал это дочери по крови. Он не понуждал её, совсем молоденькую, идти замуж за матёрого торгового человека, сама захотела, прельщённая подарками и обещаниями будущей жизни.

Фёдор Евсеев сонно ворчал на ухо прижавшейся к нему дочке:

– Мать совсем от рук отбилась. Псиной пропахла. Что учил, что не учил, будто и не жили вместе столько лет.

Евсеевиха и правда теряла связь с семьёй, спала в обнимку с собаками, утром с ними и с берёзовым луком уходила вперёд – добыть мяса и рыбы к ужину. Это у неё получалось хорошо.

В середине зоревика-сентября, после полудня, на великомученика Никиту-гусятника дощаник и струги прибыли в широкое и гладкое устье Тугира, откуда начинался Хабаровский путь на волок к Амуру. Возле притока стоял небольшой острог, огороженный тыном. Он был построен на месте промышленных зимовий московским дворянином Дмитрием Зиновьевым со стрельцами, отправленными царём в помощь Ерофею Хабарову для завоевания Даурии и Богдойского царства, в котором якобы добывают серебро и золото, роятся жемчуг и драгоценные камни. Вблизи от острожка пустовали две ветхие избы, на берегу лежали несколько рассохшихся стругов, оставленных людьми Лариона Толбузина, три лета назад прошедших на смену Афанасию Пашко-

ву. Они оставили в острожке часть хлебных запасов и восковых богородичных свечей, а при них десятника Нерчинского острога Зотьку Титова да двух енисейских казаков: Ивашку Круглого с Кузькой Филипповым. Эти трое зимовали и летовали здесь три года сряду, ожидая нерчинских казаков, но вестей от них не было.

Угасала короткая северная осень. Ещё не облетел весь лист кустарников, берёз и лиственниц, осинник стоял уже голым. Ночи были холодны, отмели к утру покрывались коркой льда. Киренские и примкнувшие к ним беглецы вытащили на сушу свои струги с дощаником, стали разводить костры и готовить ужин. К этому времени в войске Никифора Черниговского было восемьдесят четыре человека.

Зотька Титов, с товарищами при заряженных пищалях настороженно выглядывали из-за частокола на прибывший отряд. Подобные встречи были им не впервой. Они не понимали, что это за люди, но их обнадеживало илимское знамя. Атаман Никифор отдал распоряжения по устройству табора и отправился с есаулом к зимовью. Он позвал было за собой сына Федьку, но тот отказался, с умученным видом утешая плакавшую жену.

Трое зимовейщиков встретили гостей бесстрашно и равнодушно. Слишком свежа была память о разбитом войске Онуфрия Степанова Кузнеца, и эти трое уже сомневались, что живы их сослуживцы, люди Толбузина, ушедшие на Нерчу, но оставить доверенный груз они не могли.

– Здорово живем, казаки? – с показным весельем обратился к ним Никифор.

– Слава богу! – угрюмо щурясь, отвечал за всех десятник Зотька. – Чьи будете, куда идёте?

За Черниговским и его людьми была сила. Он усмехнулся и спросил, не ответив на вопрос.

– А вы чьи? Не слышали про вас в низовьях.

– Мы-то божьей милостью служилые нерчинского и телембинского воеводы Лариона Толбузина, оставлены при хлебном и свечном припасе. Ждём вестей и посыльных, а они могут подойти с часу на час. – Зотька указал взглядом в верховья Тугира.

Атаман кивнул, слегка переменившись в лице, за тремя невзрачными казаками тоже была сила по ту сторону хребта, ссориться с которой не было смысла. Он назвался приказчиком Киренского погоста, то есть не выборным атаманом, а назначенным властью. Никифор с есаулом желали больше спрашивать, чем рассказывать о себе, но вопрос десятника оставался без ответа, и Зотька с казаками всем своим видом показывал, что без этого дальнейший разговор не получится. Гости присели против зимовейщиков, примеряясь к долгой беседе.

– Самовольно идём на дальние государевы службы! Служилые, пашенные, промышленные, недовольные илимским воеводой.

Зимовейщики вскинули настороженные взгляды на свое-

го десятника. Тот доброжелательно кивнул:

– Понимаю, сам хлебнул лиха от Афоньки Пашкова. Из-за его самодурства из пятисот казаков в живых осталось семьдесят. – Нехорошая память на миг исказила болью лицо нерчинского десятника. – Добрый воевода посылается в Сибирь редко и живёт не долго, но если пойдёте служить к нашему – не пожалеете.

– Наш с пониманием! – вразнобой, нетерпеливо дёрнулись двое, Ивашка Круглый с Кузькой Филипповым, сидевшие по бокам десятника. – При таком что не служить? Да жив ли? По мартовскому насту ушёл нартами вверх по Ту-гирю. Давно нет вестей.

– Сами через волок ходили? – стал выпрашивать атаман.

– Ходил! – всё так же настороженно щурясь, коротко ответил десятник, не показывая ни страха, ни радости встречи с единоверцами. Вдруг бросил просветлевший взгляд за спины гостей, скинул шапку и встал.

Никифор с есаулом обернулись. К зимовью подходил чёрный поп Ермоген.

– Благослови, отче! – поднялись и шагнули к нему зимовейщики, скидывая шапки.

Дальнейший разговор пошёл душевной.

– Оставили нас при богородичных свечах и хлебном запасе, который год караулим от мышей, бурундуков и белок. Поневоле хлеб доедаем, хоть, бывает, в постные дни скверним живот рыбой и дичью! – едва не всхлипнул Зотья, жа-

луясь на службу.

– Важный груз! – присел рядом с атаманом Ермоген. – И сколько у вас свечей?

– Одиннадцать пудов! За тяжестью воевода не повёз их, оставил нас при казне, а как укараулишь от мышей? – жалостливей заканючил Затейка. – Прошлый год беглый Елизарка Донщина заплатил в церковную казну сто сорок соболей за четыре пуда, а свечей не забрал.

Воровская ватажка казаков хабаровского десятника Елизарки Донщины, не выдержав ленских служб после даурской воли, этим же путём возвращалась на Амур. Живы они или нет, о том никто не знал.

– Одиннадцать пудов! – удивлённо качнул головой Ермоген. – Много! Нам бы сгодились!

– Заберите, пока целы! – с затаённой надеждой вскинулся Зотька. – А то бросить не можем, без приказа везти в Якутский боимся.

– Подумаем! – кивнул атаман. – Надо совет держать. – Взглянул на Ермогена.

Монах сидел, опустив голову, покрытую камилавкой. Борода рассыпалась по груди, чёрные широкие брови сдвинулись к переносице: то ли прикидывал богоугодно ли взять чужие свечи, то ли привычно читал про себя молитву.

На берегу дымили костры, запах печёной рыбы мешался с запахами печеных птиц и кислого теста. Атаман, есаул и монах после беседы с острожниками вернулись к табору.

– Можем ли мы ждать зимоборовского наста, как Толбузин? – рассуждал на ходу Никифор. – Он свечей не взял за тяжестью, а у нас одного неподъёмного железа не меряно да шесть стругов, да одного только зерна больше ста пудов.

– И людишки, – поддакнул ему есаул, – или разбегутся до зимы, или передерутся: восьми десяткам на одном месте не прокормиться.

– Шаткость чую, – вздохнул атаман, бросив тоскливый взгляд на сыновей.

– Идти надо! – пробурчал Мишка-есаул. Взглянул на Ермогена, тот молча кивнул, соглашаясь, что надо идти.

Атаман кликнул всех на Круг, отрывая проголодавшихся людей от приготовления пищи. Казаки, промышленные, гулящие нехотя потянулись к нему. Никифор скинул шапку, поклонился на все четыре стороны, спросил у Ермогена согласия слово молвить. Тот благословил. Атаман рассказал, что узнал от зимовейщиков Лариона Толбузина, стал говорить свои соображения о дальнейшем пути.

– Нас восемь десятков, имеем шесть стругов и много тяжёлого груза. Пока Тугир не встал, хотя бы железо поднять на стругах ближе к волоку, сколько успеем. Дощаник не утянуть: и Тугир мелок, и через волок не переправить. А жаль, на Амуре сгодился бы. Придётся бросить. И разбиться бы нам на несколько ватаг: пока одни тянут вверх струги с железом, плотнику, Якуньке Творогову, набрать бы с десятка подсобных людей да сделать всем лыжи и нарты.

– Мы в прошлом ставили струги на нарты и тянули за хребет зимой?! – то ли похвалился, то ли возразил атаману Федька Москва.

– Хабаров шёл налегке, не так, как мы. Водой струги с железом утянуть легче, чем на нартах по льду, – пожал плечами Никифор. – Думайте. Как скажете, так и сделаем.

Круг спокойно, без споров решил, что лучше поднять струги водой.

– И ещё! – добавил атаман. – В здешнем зимовье воевода Толбузин оставил одиннадцать пудов богородичных свечей. Взять бы половину и заплатить соболями, пупками и хвостами, которые портятся и дешевеют?.. Я всё сказал! – поклонился и покрылся шапкой. – За вами слово, братья, что либо, что не либо.

Люди, терпеливо слушавшие атамана, миролюбиво заспорили, промышленные желали поискать соболей в здешних местах, запорожцы: Оська Подкаменный, Федотка Лукьянов с Микулкой Еремеевым и Федькой Давыдовым, – прямые убийцы Обухова, желали поскорей идти в Нерчинский острог к воеводе Толбузину, чтобы верными службами загладить свои вины и бегство с Киренги. Но все соглашались, что надо вытянуть ненавистное им железо на Становой хребет. Против покупки свечей никто не возражал, но решили, что за семь пудов шесть десятков соболей – красная цена. Поторговавшись, решили отдать за них ещё сто двадцать пупков и одиннадцать хвостов – из общей казны.

Атаман обернулся к молчавшему Ермогену за благословением, тот, усмехнувшись, укорил:

– Возьми, Боже, что нам негоже! – По замершим лицам беглецов догадался, что его понял только Софонка Емельянов, который тут же одарил беглецов презрительным взглядом и громко пояснил дребезжавшим голосом: – Пупки и хвосты в Даурах цены не имеют, они бросовые... Надо дать за свечи сто соболей.

– Они того не стоят? Толбузин купил дешевле?! – зашпорили было беглецы. Атаман тоже удивлённо взглянул на монаха и пожал плечами.

– Он купил, а мы забираем самовольно! – покаянно вздохнул Ермоген, расправляя изработанной пятернёй седую бороду.

– Всё правильно говорит отче! – прошамкал Софонка, беглый монастырский вкладчик. Он не имел ни своего пая, ни отношения к общей казне. На него никто даже не обернулся, делая вид, что не слышали, но Круг смущённо умолк. Отдавать свою долю из награбленного никто не хотел. Платить лучшими соболями и деньгами, отобранными у покойного Обухова, без одобрения казачьего Круга атаман не решался, они могли понадобиться: путь предстоял долгий и небезопасный, но спорить с Ермогеном никто не посмел. «Сто так сто!» – пробурчали несколько голосов, и Круг неохотно согласился заплатить за свечи по словам монаха.

Выговорившись, люди разошлись по своим делам. Атаман

Никифор с сыновьями и свидетелями вернулись в Тугирское зимовьё, отдали зимовейщикам в церковную казну сотню соболей с собольими пупками и хвостами, и три атаманских сына вынесли на табор семь пудов свечек.

Глава 3

Беглая ватага отдохнула и отмылась в низкой, просевшей в землю приострожной бане с большим железным, вмазанным в каменку котлом. Киренчане искренне удивлялись людям, некогда приволокшим по Олёкме этукую громоздкую тяжесть на десять ведер. Скорей всего, это были первые промышленные Тугира, собиравшиеся поселиться здесь надолго, но были сметены и выжиты последующим нашествием ватаг и отрядов. Поудивлявшись, киренчане стали спорить между собой, не прихватить ли этот котёл на Амур: по их соображениям, для троих острожников он был великоват. Промышленные бродили по окрестностям, высматривая соболя, боровую птицу и мясного зверя, казаки и пашенные готовились к новому походу, ловили рыбу, сушили впрок юколу, повар Каурко пёк хлеб, ставил новое тесто и сушил сухари. Евсеевиха целыми днями пропадала в тайге с чужими собаками, приносила битых тетеревов и глухарей, сокрушалась, что соболя мало.

Ночи на Олёкме становились темней, берега всё чаще выбеливали острые разводы льда, холодными утренниками крепче промерзали мелководные заливы. На Рождество Пресвятой Богородицы, Ермоген читал молитвы, пристойные празднику, Софон с Ивашкой Перелешиным пономарили, стоя с зажженными свечками в руках, беглецы дружно

подпевали, молились истово, возлагая надежды на заступницу за русский народ, за себя и оставленную страну. Всякий прожитый день, всякая спокойная ночь воспринимались ими как чудесный дар, оберегаемый высшими силами, отблагодарить которые можно только через молитву и пост.

Промыслы оказались бедными, ночлеги слишком тесными, ждать зимника, строить временное жильё не было смысла. Ергоген с атаманом спешии загрузить в струги ральники, сошники, плуги, пилы, топоры и поднять их по Тугиру, насколько удастся. По слухам, от бывальцев до Станового хребта было две недели зимнего пути, оттуда тоже две до Амура. Зима ещё только подступалась, но все понимали, что надо расходиться малыми ватагами: тайга не могла прокормить такое множество людей на одном месте, а мука заметно убывала с каждым прожитым днём.

Круг согласился, что нартами по льду тянуть железо будет трудней, а если удастся переправить струги на Амур, как некогда Ерофей Хабаров, не делать там новые, то быть большому облегчению. Промышленные разошлись подальше от острожка, беглецы разделились. Одна ватага готовилась тянуть струги с железом вверх по Тугиру, другая – оставалась при дощанике, чтобы делать нарты и лыжи для зимнего перехода. И вот холодным утренником монах благословил выход на Амур большой иконой Богородицы. Атаман смущённо предложил ему остаться на таборе, но Ергоген наотрез отказался, заявив, что струг с образами и свечами должен

идти впереди. Перед выходом он бросил в него свою шубейку и впрягся в бечеву.

– Хоть бы на шест встал, отче! – наперебой зароптали бурлаки. – Старый уже.

Ермоген их не услышал. Призвав в помощь Николу с занесённой саблей – образ, помогавший ермаковцам в их походе, монах потянул струг против течения Тугира. За ним с отрешённым и печальным лицом пристроился было Ивашка Перелешин. Ермоген обернулся и строго приказал ему остаться при жене и детях. Ослушаться Мельник не посмел и с удручённым видом отошел в сторону. Монаху стало жаль его, он ласковой пояснил:

– Не потакай греху, не оставляй жену и дочь при своре озверевших кобелей. Займись лыжами и нартами. Они нам понадобятся.

Ивашка почтительно поклонился, а бурлаки, напрягаясь телами в бечёвах, подхватили акафист: «Радуйся Николе великий Чудотворче... Радуйся нечаянных зол прогонителю...» В большинстве своём они шли в неведомое, зная об Амурской земле только сказки и слухи, поэтому молились непрерывно в надежде на помощь свыше.

Вместо себя атаман оставил на устье Тугира есаула Мишку Сапожника, сам пошёл с первым стругом то на шесте, то в бечеве и всё думал о своих сыновьях. Одолевали Никифора смутные сомнения: старшие, ссылаясь на умученных походом жён, запросились остаться при острожке с плотни-

ком Твороговым. Младший, Васька, не захотел расставаться с братьями. Атаман никого не неволил, даже своих сыновей, понимал, что женщинам лучше идти проторённым путём. Остался при плотнике и молодой Гришка Аксамитов, сманивший чужую жену. Она бежала от мужа в чём была среди лета, хорошо, Мишка-есаул вернул ей шубейку, позже вынудил Гришку купить ичиги и сшить капор из грубой изюбриной шкуры, которую тот отмял и задубил корой. Зима уже стучала в двери, особенно по ночам.

Остался на устье Тугира и Фёдор Евсеев с дочерью. Он жалел свою младшенькую, не хотел вести её рискованной первой ватагой. Жена же, тунгуска, не пожелала сидеть при острожке и ушла с передовым отрядом. За ней увязались две собаки новосёловского промышленного. «Вернутся!» – отмахнулся тот, но собаки не вернулись... Собрав оставшихся при Тугирском острожке мужчин, бойко владевших топорами, мукский плотник Ярко Творогов принялся разбирать палубу дощаника на лыжи и нарты.

Между тем шесть узких и длинных тяжелогружёных стругов, приспособленных для плаваний против течения быстрых рек, двигались вдоль берега, бурлаки шли по не заросшему ещё бечевнику. В первом струге, который они стали называть Спасским, везлись иконы. В последнем – нелепо топорщился перегонный куб, прихваченный у Киренского винного откупщика. Тропа была найдена людьми Ерофея Хабарова, Онуфрия Кузнеця-Степанова, полком московско-

го дворянина Зиновьева, по слухам, спрятавшего часть оружия и припасов на волоке, здесь же шли воровские ватаги Проньки Кислого, Давыдки Кайгорода, Мишки Сорокина, посланные за ними, чтобы задержать, и ушедшие следом служилые люди пятидесятника Анциферова. Этим же бечевником шли многие другие забытые промышленные и беглецы за удачей и счастьем в надежде на манившую их волю, богатство, избавление от самодурства власти.

Рассуждая об этом и читая молитвы то про себя, то вслух, отряд продвигался вверх по Тугиру, похрустывая смёрзшимся мхом и льдом. Где-то в середине шёл в бечеве самовидец Федька Москва, кряхтел от натуги, кашлял, но громко поучал и обнадёживал, что по бечёвнику настроено много балаганов, надо после полудня послать вперёд ертаулов-разведчиков, чтобы не ночевать под открытым небом. Москва помнил, что балаганы были, но не помнил, в каких местах.

В сумерках первого трудного дня бурлаки почуяли запах дыма, потом услышали лай собак и вскоре вышли на полуразрушенный, но просторный балаган, который по виду не раз чинился проходящими отрядами. Какой-никакой это был кров. Пылал очаг, тунгуска пекла тетеревов. Уставшие путники попадали на иссохшие остатки подстилок, благодаря Господа за милость.

Как ни просторен был балаган, но четыре десятка путников могли расположиться в нём только сидя. Ко всему Евсеевиха скандально не соглашалась выгнать наружу собак.

Готовить новый ночлег ни у кого не было ни сил, ни желания. Обсушившись, перекусив сухарями с юколой, беглецы, тесно сплетаясь телами, кто полусидя, кто полулёжа кое-как расположились на ночлег. Первая ночь на Тугире случилась бы тихой и спокойной, но перед рассветом вскочили собаки, спавшие на Евсеевихе, оцетинили загривки, залаяли, стали топтать отдыхавших людей. Тунгуска обругала их, выпустила из балагана, прислушиваясь к лаю, пробормотала: «Медведь!» и, укрывшись паркой, снова свернулась на нагретом месте.

Рассвет случился сырым и хмурым. Высунув языки, вернулись собаки, по виду довольные пробежкой. Глядя на них, Евсеевиха обнадёжила бурлаков погожим деньком. Не дожидаясь завтрака, она взяла лук и ушла в сторону от бечёвника. Вскоре, действительно, разнесло серые тучи, и настал ясный осенний день. «Доброе начало – полдела с плеч», – решили путники, вышли к реке, разобрали бечевы, столкнули на воду струги и с молитвами двинулись дальше.

Четыре десятка мужчин две недели тянули шесть гружёных стругов. Местами река была мелка, щетинилась перекатами, через которые приходилось перетягивать гружёные лодки своей силой. Студёная вода заливала сапоги и бродни, ломила мокрые ноги бурлаков, они сушились у костров и продолжали путь. По утрам тихие заводи покрывал лёд. Не дожидаясь, когда его распарит полуденное солнце, путники разбивали проход шестами и упорно продвигались к Стано-

вому хребту. Ночевали они то у костров, то в старых балаганах. По пути изредка стреляли глухарей, тетеревов и зайцев. Боясь гнева Божья, отмаливались, но сквернились по постным дням: варили и пекли рыбу, по большей части щук, которых лучили ночами с пылавшими головёшками. Ермоген не осуждал спутников: поход есть поход, но сам грыз сухарики, которые припасал после выпечки лепёшек, варил мёрзлые грибы, в скоромные дни не отказывался от рыбы.

«Откуда в тебе силы? – удивлялись казаки и промышленные. – Седая борода, толком не ешь, а тянешь струг наравне со всеми.

– Молитва даёт и силу, и пищу уму и телу! – пространно отвечал Ермоген, неохотно вступая в разговоры.

Впереди с собаками шла Евсеевиха, высматривая балаганы или удобные места ночлегов. Вечерами, перед сном, она часто качала непокрытой головой и ворчала: «Нехорошо!» «Что нехорошо?» – допытывались спутники.

– Олени ходят нехорошо! Тунгусы на них сидят.

– Тунгусов в здешних местах как летом мошки, – посмеялся над ней Федька Москва.

– Почему прячутся и ходят поблизости?

Но опасения Евсеевихи оказались ненапрасными. Тот же Федька Москва, по жребию карауливший отдохавших спутников, после полуночи, перед рассветом, с одним топором в руке отошёл от костров за дровами и заорал в глубине леса. Похватав фузеи и пищали, товарищи кинулись ему на вы-

ручку, запоздало залаяли собаки. В сумерках рассвета они увидели Федыку, отбивавшегося топором от наседавших тунгусов. Прогремело несколько выстрелов, Евсеевиха пустила пару стрел из лука. Тунгусы бесшумно пропали из виду, оставив ездового оленя. Широко расставив копыта, он стоял, удивлённо глядя на наседавших собак. Евсеевиха подскочила к нему и чиркнула ножом по мохнатому горлу. Олень постоял, покачиваясь, затем лёг на живот и умер. Зверя подтащили к кострам, быстро ошкурили, разделали и стали варить мясо.

– Нехорошо ходят, прячутся, – настороженно оглядывалась в таёжный урман Евсеевиха.

– Нехорошо, – согласился Федыка. Он всё ещё дёргался, возмущался и тяжело дышал. – Сперва подумал, леший потешается: хватать за руки со спины. А это дикие хотели отобрать топор...

Тугирский бечёвник тяжело давался молодым беглецам Гришке Мыльнику и Ваське Бесу. Они бежали с Киренги без зимней одежды. На Лене кое-что прихватили в ограбленных заимках, но о надёжной обуви не позаботились. Оба шли с последним стругом в чунях из невыделанной лосиной шкуры, в мокрых онучах. На стоянках обиженно поскуливали, выпрашивая сменную обувь в долг.

К концу третьей недели пути заморосил холодный дождь, утром окрестности выбелил сырой снег и растаял, как только засияло солнце, но уже после полудня оно скрылось за набе-

жавшими тяжёлыми тучами, и начался густой снегопад. Пушистый и белый снег ложился на чёрную воду реки, на берега и окрестности. Выбеленные им бурлаки с мокрыми бородами угрюмо тянули струги до самых сумерек, высматривая место для ночлега, но подходящего всё не было. Обнадёживал и утомлял обманными надеждами Федька Москва.

— Где-то рядом Ворыпаевское зимовьё. Не раз бывал, помню, — тараторил на ходу уставшим людям. — Отче? — приставал к Ермогену. — Ты должен знать... Добротный дом на большую ватагу, баня. Десяти лет не прошло, может, старик-Андрюха ещё жив... Может быть, за тем вон пригорком уже.

Ермоген на его болтовню не отвечал, устало глядя под ноги, тянул бечеву. Один пригорок менялся другим, за поворотом речки открывался новый поворот, а долгожданного жилья всё не было. На Федьку стали покрикивать, чтобы замолчал, и он обиженно засопел, налегая на бечеву. Сумрак непогожего дня начал темнеть приближеньем ночи, а подходящего для стана места не было. Начались споры о стоянке среди слякоти и сырости. Но по молитвам случилось чудо. Едва ли не в ночи путники услышали лай собак и учуяли запах гари. На пригожем месте стоял крепкий, просторный балаган. Из распахнутой двери валил густой дым. У пылавшего очага лежала Евсеевиха, пекла птицу и шкуруила добытого соболя.

— С такой женой не пропадёшь! — посмеивались уставшие люди, вспоминая Фёдора Евсеева. Они не одобряли, что тот

отпустил с ними жену, но соглашались, что такую бабу при себе не удержишь.

Поругивая Федьку Москву за обещанный дом, бурлаки вытянули на берег струги, просушили одежду и попадали без сил. Собаки лежали рядом с Евсеевихой, воняли мокрой псиной, подёргивая усами, шурились на огонь и ждали объедков. С тунгуской из-за них уже не спорили. Устало ворчал Федька Москва, оправдываясь, что ворушаевское зимовьё не могло пропасть без следа, не могли пройти мимо, не заметив хотя бы гари: ведь стояло на берегу. А снег валил и валил всю ночь. К утру балаган так замело, что едва открыли плетёную из кустарника дверь. Снегопад не прекращался и днём, по черной, парившей реке густо плыло сало.

– Не дал бог, идти до Покрова! – сокрушался атаман.

Бурлаки с мокрыми сугробами на плечах и шапках запапались дровами, густо перемешанными со снегом, поддерживали огонь и отдыхали. Снегопад прекратился на другой день, так же неожиданно, как и начался. Открылась нерадостная картина: по реке, попеременно с салом, плыли льдины: с часу на час Тугир должен был встать.

– Всё! – решил атаман.

По совету Ермогена он оставил при себе два десятка казаков, чтобы подволочь груз ближе к Становому хребту, остальных отправил обратно в Тугирский острожёк, чтобы по окрепшему льду привезти нартами оставленное там добро. После двух десятков дней натужного труда возвраще-

ние налегке давало отдых. Недостатка в желавших вернуться к устью не было: попариться в бане, поесть выпеченного в каменке заквашенного хлеба хотели все. В жеребьевке не участвовали только атаман и монах. Гришку Мыльника и Ваську Беса отпустили с напутствием сшить себе зимнюю обутку. Едва осел сырой рыхлый снег, путники вытянули струги подальше от реки, два десятка бурлаков ушли вниз берегом застывающей реки, оставшиеся при балагане с грузом наслаждались простором и тесали нарты для дальнейшего волока. Ергоген делал крошни, чтобы на себе нести иконы.

Крепчали морозы, зима входила в свои законные права. При постоянно горевшем очаге в балагане жизнь казалась сносной, а после ухода половины отряда даже просторной. Птица и зверь по близости были выбиты, Евсеевиха раз и другой пришла на ночлег без добычи, потом пропала на несколько дней. Федька Москва спорил, огрызался и всё порывался идти искать ворыпаевское зимовьё. Одного его атаман не отпустил, вышел в верховья Тугира с десятком спутников и лёгким грузом. Ергоген решил идти впереди с иконой Богородицы. Установленная и привязанная на крошни за его плечами икона делала монаха похожим на крылатого серафима.

Ворыпаевское зимовьё оказалось всего лишь в полудне пути от балагана и охраняемых стругов. Федька Москва завопил, указывая на показавшуюся крышу под листовничным

драньём. Это был крепкий, просторный дом с баней и лабазом, обнесённый частоколом. Ворыпаевская ватага срубила здесь стан, предполагая задержаться надолго. Все строения оказались целыми, но никаких следов людей не было ни в округе, но во дворе с поникшей, присыпанной снегом травой. Дверь избу была закрыта и не подперта снаружи батожкой.

Андрей Ворыпаев с братом Матюшкой и промысловой ватагой появился в этих местах одним из первых. Подначальные ему, передовщику, промышленные люди построили просторное зимовьё, из которого чуницами расходились на промыслы, время от времени возвращаясь за съестным припасом. Каждый их дневной переход заканчивался станом – избушками или балаганами, в которых могли ночевать и пережидать непогоду трое-четверо промышленных во главе с чуничными атаманами. На тех переходах по ручьям и падям тропились ухозя и обставлялись собольими ловушками, кулёмами, клепцами.

Хабаровский отряд, проходя мимо ворыпаевского зимовья, останавливался у передовщика, проел зимний припас ватаги и ушёл дальше, не заплатив за простой, да ещё насильно забрал Матюшку Ворыпаева, чтобы указал дорогу на Амур. Потом Ерофей возвращался тем же путём в Якутский острог и снова шёл на Амур. Ворыпаевские промышленные поняли, что через Тугир проложен путь, по которому будут ходить непрестанно, и стали покидать ватажного атамана.

Андрюшка же Ворыпаев, на что-то надеясь, не покидал своей просторной таёжной избы.

Следом за Хабаровым на Амур и обратно прошли полторы сотни стрельцов дворянина Зиновьева, за ними побежали воровские отряды и полки, все они теснили и грабили сначала редуящую ватажку, затем оставшегося в одиночестве промышленного. После разгрома войска Онуфрия Степанова побитые и выжившие, христарадничая, возвращались этим же путём, случалось, опять грабили и пытали Андрюшку, где спрятал оружие московский дворянин Зиновьев.

А Воропаев продолжал жить на прежнем месте, поблизости от своего зимовья добывал соболишек, все реже выходил в остроги за хлебом, свинцом и порохом. Последние из его гостей рассказывали, что старик решил отойти к Господу в своём зимовье: в его избе стоят тёсанный крест и гроб, в котором он спал. Позаботился раб божий Андрей и о будущей могиле, выкопав её на сухом месте.

Атаман Никифор распахнул дверь зимовья, в лицо пахнуло сыростью и резким запахом умершего. При тусклом свете запылённого оконца, затянутого лосиным пузырём, путники увидели старого промышленного, лежавшего на боку в вытесанном им гробу, рядом стояли гладко обструганная крышка и листовенничный крест.

– А что? Достойная кончина для вольного промышленного человека, – всхлипнул Федька Москва и трижды перекрестился на образок в углу зимовья. Молча закрестились

другие путники, набиваясь в выстывшее, отсыревшее жильё. Середину его занимала большая печь, сложенная из камней и глины. Под ней нашлись дрова и береста. Беглецы высекли огонь, зажгли одну из богородичных свечей, развели огонь в каменке и таганке, принесли дров, припасённых стариком. Изба высветилась и стала нагреваться, из-за резкого запаха дверь пришлось открыть.

Холодное и тусклое зимнее солнце клонилось к закату. Хоронить покойного промышленного было поздно. Атаман назначил караульных. Ергоген зажёл богородичные свечи и начал отпевание, за ним с печальными лицами стояли, крестились и кланялись нечаянные гости Андрея Ворыпаева. Его лицо, сведённое предсмертной болью, расправлялось и веселело. К ночи в протопленной избе тело оттаяло, и ему придали достойный вид, положив на спину, скрестив руки на груди.

Подкрепившись едой и питьём, укрывшись сухой одеждой, путники просторно легли отдохнуть на нарах и на полу, застеленному лиственничными плахами. Ергоген едва не всю ночь читал молитвы у гроба. Караульные поддерживали огонь в печи. Утром гости покойного промышленного без труда нашли могилу, прикрытую драньём. Старик основательно позаботился о своей кончине. Его тело предали земле, вернулись в избу и стали печь блины на помин души.

В это время люди, оставленные атаманом в балагане при стругах, спокойно отдыхали, наслаждаясь тишиной и про-

стором, неторопливо тесали полозья нарт. На промыслы дичи далеко от балагана они не удалялись. Крепчал лёд в речке, уже без хруста держал груз. Евсеевиха не приходила, её не ждали, думая, что ушла далеко вперёд. Ждали возвращения атамана с ертаулами. Наконец решили перегрузить часть железа в сделанные нарты и попробовать зимник, тут и обнаружилось, что перегонный куб пропал. В спорах и поисках его прошёл день. Кое-какие следы были найдены. Беглецы с ружьями пошли по ним, и нашли пропажу, брошенную тунгусами в полуверсте от балагана. По всему выходило, что таёжные кочевники, украв куб, долго соображали, что это такое, и потом оставили за ненужностью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.